

8 р-т
к Т 87

ТУРГЕНЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО

ТУРГЕНЕВСКИЙ СБОРНИК

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
А. Ф. КОНИ

80

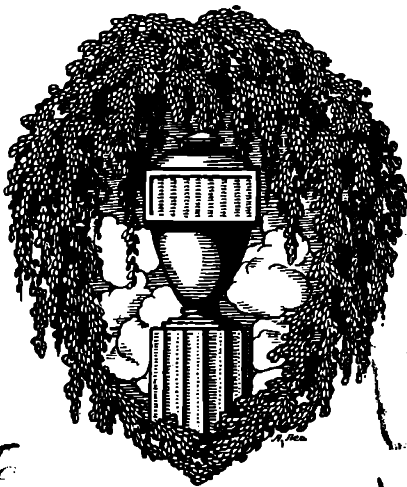


ПЕТЕРБУРГ
Кооперативное Издательство
Литераторов и Ученых
1921

К
- 4
7
ЕНЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО

ТУРГЕНЕВСКИЙ СБОРНИК

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
А. Ф. КОНИ



8884
10177
2/13/30

289

10177

596

10177

КРАЕВЕДЕНИЕ
2009

ПЕТЕРБУРГ
Кооперативное Издательство
Литераторов и Ученых
1921

КР-2017

Орловская Ольга
БИБЛИОТЕКА

**Настоящее издание отпечатано
в Воен. Типогр. Шт. Р.-К. К. А.
в количестве 2500 экземпляров.
Обложка работы художника
А. Н. Л е о.**



**СТАТЬИ
ВОСПОМИНАНИЯ
НЕИЗДАННЫЕ
ПИСЬМА**

ОГЛАВЛЕНИЕ

	СТР.
Предисловие	9
Л. С. Утевский. Смерть Тургенева	13
А. Ф. Кони. Похороны Тургенева	57
Вл. Каренин. Тургенев и Жорж Санд	87
М. К. Клеман. Отец Тургенева в письмах к сыновьям .	131
С. А. Переселенков. Письма И. С. Тургенева к барону Г. О. Гинцбургу	145
Из собраний Пушкинского Дома:	
1. Из воспоминаний Е. М. Θεоктистова. С предисловием и объяснениями Б. Л. Модзалевского .	155
2. Письма И. С. Тургенева к А. К. Толстому, М. А. Языкову, М. Н. Каткову и А. Н. Майкову. С объяснениями Б. Л. Модзалевского	197

Шесть лет тому назад, в предисловии Н. К. Пиксанова к „Тургеневскому Сборнику“, изданному Тургеневским кружком при Высших Женских Курсах, мы читали следующие строки:

„... Тургенев, один из самых любимых русских писателей, не дождался до сих пор ни музея, ни особого Тургеневского Общества. Такое учреждение—одна из назревших культурных задач... Будем надеяться, что когда-нибудь—и в скором времени—будет создан Тургеневский Музей, а вместе с ним возникнет и Общество имени И. С. Тургенева, которое поставит своей задачей планомерное и постоянное собрание и изучение всего, что касается жизни и творчества великого писателя“.

Через три года, высказанная основателем первого у нас Тургеневского кружка мысль претворилась в жизнь—в мае 1919 года, группой лиц, объединенных стремлением к изучению жизни и творчества Тургенева и увековечению его памяти, было основано Тургеневское Общество.

Учредителями его явились: А. Ф. Кони, С. А. Венгеров, Б. Л. Модзалевский, А. Е. Молчанов,

А. С. Поляков, В. А. Рышков, Л. С. Утевский, Ю. Г. Оксман, М. К. Клеман, составившие первый Совет Общества и избравшие своим председателем А. Ф. Кони.

Несмотря на кажущееся обилие тургеневской литературы, научное изучение Тургенева, как это и отметил проф. Пиксанов в первом „Тургеневском Сборнике“, едва начинается. У нас нет действительно полного, удовлетворяющего научным требованиям, собрания его сочинений, как нет и полного собрания его писем. Не малое количество их еще не опубликовано.

Сообразно с этим, одной из главных задач Тургеневского Общества является собирание, изучение и издание литературных произведений Тургенева, его переписки, биографических материалов и всего, что касается его жизни и творчества.

В этих направлениях и ведется работа Общества.

В его научных заседаниях, начавшихся вскоре после его основания, заслушан ряд (около тридцати) касающихся Тургенева докладов.

Теперь же Общество приступило к подготовке к изданию полного собрания его писем. Избранная с этой целью Комиссия, под председательством Б. Л. Модзалевского, деятельно работает над собиранием и подготовкой их к печати. В основу работы положена составленная Н. Г. Богдановой, под редакцией Н. К. Пиксанова, библиография всех до сих пор напечатанных писем Тургенева.

Издание всего огромного количества писем (около 4000) потребует большой и очень продолжительной работы и займет, по приблизительному подсчету, 8 томов.

Тургеневскому Обществу радостно отметить, что коллективная работа по изучению Тургенева не ограничивается одним Петербургом. Работает Тургеневский семинарий проф. Пиксанова в Саратове, составляющий, между прочим, под его руководством, хронологический указатель писем Тургенева для подготавливаемого Обществом издания, работает и Одесская ячейка Общества—Тургеневский семинарий, руководимый одним из его учредителей, Ю. Г. Оксманом, и группа лиц, результаты работ которых выходят в свет в ближайшие дни.

Это дает нам повод думать, что интерес к Тургеневу, любимому писателю многих поколений, не остыл и в наши дни.

Еще лучшим доказательством этого служит сравнительно обильная тургеневская литература, появившаяся за последние три года.

Мысль об издании „Тургеневского Сборника“, включающего не только прочитанные в Обществе доклады, но и ставшие ему доступными неизданные воспоминания о Тургеневе и неопубликованные его письма, с самого начала привлекала внимание Общества.

С этой целью, еще год тому назад, была избрана редакционная комиссия, под председательством

А. Ф. Кони, в составе Б. Л. Модзалевского, А. С. Полякова и Л. С. Утевского, которая, несмотря на все старания, лишь теперь выпускает его в свет.

Тяжелые условия печатания не позволяют издать Сборник в намеченном объеме, но редакция выражает надежду, что первое начинание не окажется и последним, и что вслед за настоящим выпуском последуют дальнейшие.

С глубокой горестью приходится отметить, что за короткое время, прошедшее со дня основания Общества, малочисленные ряды его учредителей значительно поредели.

Скончались С. А. Венгеров и А. Е. Молчанов.

Кончина Семена Афанасьевича Венгерова, первого товарища председателя Общества и его почетного члена, первая, юношеская работа которого была посвящена Тургеневу, является для Общества незаменимой утратой.

Тяжелой потерей является она и для настоящего Сборника, который он украсил бы своим участием.

Смерть Тургенева

I

22-го августа 1883 г., в комнате второго этажа небольшого шале в Буживале, вдали от родины и русских друзей, изолированный от теплого общественного внимания, скончался после продолжительных, после нечеловеческих страданий Иван Сергеевич Тургенев.

Смерть всегда была для великого писателя страшна, он боялся ее—это известно.

В своих произведениях он беспрестанно ее касается, всегда изображая ее одинаково мрачными, одинаково грозными красками. Смерть—это „сила, которой нет сопротивления, которой все подвластно, которая без зрения, без образа, без смысла—все видит, все знает и, как хищная птица, выбирает свои жертвы, как змея их давит и лижет своим мертвым жалом“ ¹⁾, „это страшное насекомое, зловеще шумящее крыльями, жутко и противно шевелящееся, возбуждающее отвращение, страх, ужас“ ²⁾. И всегда это нечто грозное, страшное, от чего „тошнило на сердце, в глазах темнело и волосы становились дыбом“ ¹⁾.

¹⁾ „Призраки“.

²⁾ Стихотворение в прозе „Насекомое“.

Еще девятнадцатилетним юношей Тургеневу пришлось столкнуться лицом к лицу с этой грозной силой. Пожар на пароходе, на котором он впервые выехал за границу, заставил его пережить весь страх и ужас неизбежной, казалось, смерти. Повидимому, он встретил ее недостаточно мужественно. Недаром мать упрекала его в том „ридикюльном“ пятне, которое это на него наложило. „Слухи всюду доходят“ — писала она ему — „Ce gros monsieur Tourgueneff qui se lamentoit tant, qui disoit mourir si geune... Что ты gros monsieur — не твоя вина, но — что ты трусил, когда другие в тогдашнем страхе могли заметить“...¹⁾ Впрочем и сам Тургенев в 1868 г. в письме в редакцию „С.-Петербургских Ведомостей“ признавал, что „близость смерти могла смутить девятнадцатилетнего мальчика — и я не намерен уверять читателя, что я глядел на нее равнодушно“²⁾. Это, правда, лишь эпизод, но эпизод, пройти мимо которого было бы ошибкой. Ужас перед неотвратимостью смерти характерен для Тургенева в течение всей его жизни. Он продиктован, конечно, общим его мирозерцанием, всем складом его личности, а не кораблекрушением, испытанным им в молодости, но оно должно было оставить след. Ощутивши раз близкое дыхание смерти, ему уже понятен тот ужас, который „кривил, искажал бледные черты“ его Эллис. „Смерть мне тогда заглянула в лицо и заметила меня“ — мог он сказать словами Чулкатурина³⁾.

Разум писателя никак не может примириться с ее неизбежностью, он тщетно ищет разрешения великой загадки.

¹⁾ „Тургеневский сборник“ под редакцией Н. К. Пиксанова, стр. 33.

²⁾ „Первое Собрание писем И. С. Тургенева“. Спб. 1885, стр. 138.

³⁾ „Дневник лишнего человека“.

Еще в одном из юношеских своих стихотворений („Вечер“¹⁾), в час „глубокого сна—на небе, на земле“ он задает вопрос:

Что если этот сон—одно предвозвешенье
Того, что ждет и нас, того, что будет нам!
Здесь света с тьмой—там радостей, страданий
С забвением и смертью слияние:
Здесь ночь и мрак—а там? Что будет там?

Вопрос неразрешим.

И грустно стало мне, что ни одно творенье
Не в силах знать о тайнах бытия.

А проникнуть в эту тайну он стремился всегда. „Неужели смерть есть ничто иное, как последнее отправление жизни“?—пишет он в 1861 г. графине Ламберт²⁾.

Самая естественность смерти его страшит. „Естественность смерти гораздо страшнее ее внезапности или необычайности“—читаем мы в том же письме.

Чувство, владевшее в жизни Тургеневым, прекрасно объясняется несколькими строками в „Накануне“. „Смерть“—говорит он здесь—„как рыбак, который поймал рыбу в свою сеть и оставляет ее на время в воде: рыба еще плавает, но сеть на ней, и рыбак выхватит ее, когда захочет“.

Сознание того, что он только рыба, барахтающаяся в сетях, расставленных страшным рыбаком—смертью, сетях, которые последний волен затянуть, когда ему заблагорассудится, его не покидало. „Мы все осуждены на смерть—писал он графине Ламберт³⁾—„какого еще хотите трагического“?

¹⁾ „Современник“ 1838 г., т. IX, стр. 151.

²⁾ „Письма И. С. Тургенева к графине Ламберт“. М. 1915, стр. 144.

³⁾ 14-го октября 1859 г.

Чем дальше, чем ближе к настоящей старости, тем ужас перед „страшной ямой“, „ненасытной, немой и глупой, не сознающей того, что она пожирает“¹⁾, но от которой „не уйдешь“, все более проникает все существо автора „Стихотворений в прозе“.

„...Вдруг, уж точно как снег на голову, нагрывает старость—пишет он в „Вешних водах“—и вместе с ней тот постоянно возрастающий, все раз’едающий и подтачивающий страх смерти...“

В 1872 г., в кругу французских друзей, он говорит: „Vous savez, quelquefois, il y a dans un appartement une imperceptible odeur de musc, qu’ on ne peut chasser, faire disparaître... Eh bien, il y a, autour de moi, comme une odeur de mort, de néant, de dissolution“²⁾.

В 1873 г. пишет Фету, что стал „существом, постоянно, как часовой маятник, колеблющимся между двумя одинаково безобразными чувствами: отвращением к жизни и страхом смерти...“³⁾.

„Начинаю чувствовать глухой страх смерти“—ответил он однажды, уже в последние годы жизни, художнику Верещагину на вопрос о состоянии его духа⁴⁾.

А в 1881 г., во время пребывания своего в Ясной Поляне у Толстого, он находил, что страх смерти естественное чувство, сознавался, что боится смерти, и откровенно говорил, что не приезжает в Россию во время холеры⁵⁾.

¹⁾ Письмо к Флоберу от 18 июня 1876 г.—„Письма И. С. Тургенева к П. Виардо и его французским друзьям“. М. 1900, стр. 172.

²⁾ „Вы знаете, как иногда в комнате бывает незаметный запах мускуса, который нельзя прогнать, заставить исчезнуть... Точно также я чувствую вокруг себя запах смерти и разложения“ („Journal de Goncourt“, t. V, p. 25).

³⁾ Фет, „Мои Воспоминания“. Т. II, стр. 280.

⁴⁾ В. В. Верещагин, „Очерки, наброски и воспоминания“. Спб. 1883.

⁵⁾ Это дало повод Толстому написать в одном письме: „Как Тургенев не боится бояться смерти“ (С. Толстой, „Тургенев в Ясной Поляне“, „Голос Минувшего“, 1919, №№ 1—4, стр. 232).

229/11 206 526

Страх смерти для Тургенева непобедим.

„Одна религия может победить этот страх“—говорит он в письме к графине Ламберт (от 10/22 декабря 1861 г.)—„Но сама религия должна стать естественной потребностью в человеке, а у кого ее нет, тому остается только с легкомыслием или с стоицизмом (в сущности это все равно) отворачивать глаза“.

Его сны, его предчувствия возвращаются теперь все вокруг того же. Вспомним, что знаменитая „Старуха“ является, по свидетельству Я. П. Полонского, одним из его снов. А предчувствия его доходят до того, что, боясь из-за одного такого предчувствия умереть в октябре 1881 г. (он ждал смерти в ночь с 1-го на 2-е октября), он просит Ж. А. Полонскую взять на сохранение кой-какие его бумаги¹⁾.

* * *

Но вот смерть уже на яву, а не во сне, вплотную подошла к Тургеневу. Страшная сеть, на этот раз в действительности, затягиваясь тесней и тесней, стала душить великую добычу.

Как же отнесся к ней наш писатель теперь, ставши перед ее лицом, вновь, как когда-то девятнадцатилетним юношей, ощутив ее дыхание, сознавая, что на этот раз нет спасения, что роковая сеть неминуемо и неотвратно затянется мертвой петлей? Исказались ли его черты тем „томительным ужасом“, который кривил когда-то бледные черты Эллис? Темнело ли у него в глазах, вставляли ли волосы дыбом от ледящего дыхания, или же он умирал, как русский человек—„холодно и просто, словно обряд совершая?“²⁾.

¹⁾ Письмо Я. П. Полонского к А. П. Боголюбову; находится в Пушкинском Доме.

²⁾ „Смерть“ („Записки Охотника“).

ПЕРВАЯ ПЕРЛОДСКАЯ
СОБРАНИЕ
РАСЧИСЛЕНА
1911

ПЕРЛОДСКАЯ

Душевное состояние Тургенева на смертном одре не напоминает ни того ни другого. На сцену выступает нечто новое, ибо в душе великого писателя, кажется нам, совершился перелом.

Этим новым является, под влиянием нечеловеческих страданий, коренным образом изменившееся отношение к смерти.

Вспомним сон Лукерьи из „Живых мощей“.

Наблюдая проходящих мимо нее по большой дороге странников, Лукерья видит между ними „женщину, целой головой выше других, с постным и строгим лицом“. „Остановилась и смотрит... И спрашиваю я ее: кто ты?—А она мне говорит: „Я смерть твоя“. Мне что-бы испугаться, а я напротив рад-радехонька, крещусь! И говорит мне та женщина смерть моя: „Жаль мне тебя, Лукерья, но взять тебя с собой не могу. Прощай!“ Господи! Как мне тут грустно стало! „Возьми меня“, говорю, „матушка, голубушка, возьми“! И смерть моя обернулась ко мне и стала мне выговаривать...“

Сон Лукерьи дает нам совершенно непохожий на предыдущие образ,—образ смерти-избавительницы, желанной избавительницы от мук и страданий.

И если всю жизнь смерть рисуется Тургеневу лишь в виде внушающих ужас и отвращение страшных образов, то на смертном одре эта всемогущая сила существует для него лишь в виде смерти из сна Лукерьи.

Если до сих пор, при представлении грозной силы, волосы становились у него дыбом, то теперь, подобно Лукерье, он взывает к ней: „возьми меня, возьми меня“!

Сдвиг этот вызван был, как мы уже сказали, страданиями, нестерпимыми, нечеловеческими, не

дающими покоя, безнадежными, столь сильными, какие испытывали лишь немногие.

Великому писателю выпало на долю переносить их в течение долгих дней.

II.

Первые признаки болезни, сведшей Тургенева в могилу, появились в конце марта 1882 года.

Великий писатель проводил зиму в Париже. Предыдущее лето он прожил в родном Спасском вместе с гостившей у него семьей Полонских.—Эта „Спасская жизнь являлась ему каким-то приятнейшим сном“¹⁾, и теперь он мечтает о возобновлении ее следующим летом. Увы! Этого желанья ему осуществить не удалось.

Первоначально Тургенев полагал, что у него невралгия. Знаменитый Шарко определил у него *angine de poitrine*—грудную жабу. Как-то нерешительно сообщает он об этом в Россию: „Опасности болезнь не представляет, но заставляет лежать или сидеть смирно; даже при простом хождении или стоянии на ногах делаются очень сильные боли в плече, спинных лопатках и всей груди, затем является и затруднительность дыхания“²⁾. Друзья в России забеспокоились, и в ряде писем Тургенев подробно описывает болезнь. „*La medecine est à peu près impuissante contre cette maladie*“—сказал ему Шарко,—„надо лежать и ждать недели, месяцы, даже годы“³⁾. Больше всего его огорчила невозможность определить даже время возвращения на родину.

¹⁾ Письмо к Ж. А. Полонской от 23 сентября 1881 г.—„Первое собрание писем И. С. Тургенева“. Стр. 385.

²⁾ К ней же, от 8 апреля 1882 г.

³⁾ „М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке“. Т. III, стр. 201.

Тургенев видимо хандрил и скучал.

Первые месяцы болезни протекли без всяких перемен. „Здоровье мое поправляется—писал он в мае М. М. Стасюлевичу,—но с медленностью, достойной Фабия Кунктатора или нашей Податной Комиссии“¹⁾).

В конце мая больного писателя „частью перенесли, частью перевезли“²⁾ в Буживаль. Здесь, в усадьбе Виардо — „Les Frères“, среди роскошного парка, рядом с большим домом, в котором жила семья Виардо, стоял его шале, небольшой домик в швейцарском стиле. Долгожданный переезд не принес в начале желанного облегчения. Напротив, вдобавок ко всему, появилась междуреберная невралгия, не позволявшая даже лежать и мешавшая спать. Для облегчения болей стали прибегать к впрыскиванию морфия.

Один из лучших парижских врачей Jaccoud, к которому Тургенев, по совету д-ра Белоголового, обращается в конце июня, так же, как и Шарко, признает болезнь за грудную жабу, но прописывает строгое молочное лечение³⁾. С этого времени больной начинает ежедневно потреблять огромное количество молока.

Душевное состояние его представляет картину, полную безотрадности. „Бодрость духа во мне исчезла“ — пишет он теперь⁴⁾), — „человек я похеренный“. Не то, чтобы он думал, что болезнь грозит ему скорой смертью. Напротив, он полагал, что жить может с ней много лет, но только „начи-

1) „М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке“. Т. III, стр. 203.

2) Письмо к М. Г. Савиной от 7 июня—26 мая 1882 г.—„Тургенев и Савина“. Пгр. 1918. Стр. 46.

3) Письмо к Ж. А. Полонской от 25 июня 1882 г.; см. также воспоминания Н. А. Белоголового—„Новости“ 1883 г., № 158.

4) М. Г. Савиной—19.7 июня 1882 г.

нал убеждаться“, что болезнь неизлечима. Он старается привыкнуть к этой мысли, примириться с безысходностью положения. „Личная жизнь моя прекратилась“—пишет он,—„это голый факт“¹⁾.

Такое настроение, конечно, несколько не удивительно. Быть осужденным на неподвижность, когда кругом все зелено, все цветет, когда в голове столько планов и литературных, и всяческих, когда тянет в родное Спасское, а об этом нельзя и подумать²⁾, конечно, не легко. И грустные нотки появляются все чаще. „Когда будете в Спасском—пишет он 30-го мая 1882 г. Я. П. Полонскому,—поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу—родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу“³⁾.

В июле здоровье великого писателя как-будто начинает поправляться. Сообразно с этим, и пессимизм его принимает более светлые тона. Себя он

¹⁾ Письма к Ж. А. Полонской от 2-го и 9-го июля 1882 г.

²⁾ Письма: к А. В. Топорову—от 13 июня 1882 г. („Перв. Собр. писем“, стр. 443), к Ж. А. Полонской—от 27 мая 1882 г.; к М. Г. Савиной от 7 июня—26 мая.

³⁾ Эти глубоко трогательные строки поразительно напоминают то поэтическое, обвинное предсмертное грустью, место „Дневника лишнего человека“, в котором несчастный Чулкатурин, расставаясь с жизнью, прощается с родной природой:

„О, мой сад, о, заросшие дорожки возле мелкого пруда! о, песчаное местечко под дряхлой плотинкой, где я ловил пескарей и голецов! И вы, высокие березы, с длинными висячими ветками, из-за которых с проселочной дороги, бывало, неслась унылая песенка мужика, неровно прерываемая толчками телеги—я посылаю вам мое последнее прощанье!... Расставаясь с жизнью, я к вам одним простираю мои руки. Я бы хотел еще раз надышаться горькой свежестью полыни, сладким запахом сжатой гречихи на полях моей родины; я бы хотел еще раз услышать издали скромное туканье надтреснутого колокола в приходской нашей церкви; еще раз полежать в прохладной тени под дубовым кустом на скате знакомого оврага; еще раз проводить глазами подвижный след ветра, темной струею бегущего по золотистой траве нашего луга...“ („Дневник лишнего человека“, „Полн. собр. соч.“, изд. Глазунова, т. V, стр. 214).

Кто говорит это—„лишний“ Чулкатурин или умирающий Тургенев? Это прощание, по своему настроению, так гармонирует с состоянием души писателя во время предсмертной болезни, что его вполне можно было бы принять за строки из письма к кому-либо из близких друзей. Как-будто Тургенев вложил в него частицу тех переживаний, которые выпали на его долю через 33 года.

называет „приросшей к здешнему месту устрицей, которую даже с'есть нельзя“ ¹⁾. От молочного ли лечения (которое вновь ему прописал, посетивший его в это время, по просьбе Полонских, д-р Бертенсон ²⁾), или это было естественным ходом болезни, но облегчение наступило ³⁾. Боли стали значительно слабее, он получил возможность стоять и ходить в продолжение десяти минут, спокойно спать по ночам, спускаться в сад, даже „литературная жилка в нем зашевелилась“. В этот период написана им „Клара Милич“ ⁴⁾.

Состояние улучшения продолжалось несколько месяцев.

В первое время после его наступления Тургенев делается бодрее. Надежда его теперь не оставляет, он надеется зимой переехать в Петербург и будущее лето провести в Спасском. В то же время у него появляется какое-то своего рода смирение. Он „ничего уже от жизни не требует, кроме отсутствия, по мере возможности, страданий“. „Главный интерес дня—вечерний вист; иногда немножко музыки. Самый лучший режим для той устрицы, в которую я превратился“ ⁵⁾.

Но время шло, улучшение не прогрессировало, желанное выздоровление не приходило. И больной писатель больше не хочет обольщать себя надеждами. „Махнув рукой на всякую возможность выздоровления—старается жить, работать и не думать“ о болезни. „Оказывается, что можно существовать, не будучи в состоянии ни стоять, ни хо-

¹⁾ Письмо к Я. П. Полонскому от 17 июля 1882 г. („Перв. Собр. Пис.“, 457).

²⁾ См. „Медицинский Вестник“ от 3 сентября 1883 г., № 36.

³⁾ См. письма к д-ру Л. Б. Бертенсону от 3 и 13 августа 1882 г., там-же.

⁴⁾ „Благодаря некоторому облегчению моих недугов—писал он 18—6 сентября 82 г. к М. Г. Савиной,—мне удалось написать довольно большую повесть—по содержанию почти безумную“ („Тургенев и Савина“, стр. 54).

⁵⁾ Письмо к Ж. А. Полонской от 4 августа 1882 г.

дить, ни ездить“. Он уверяет, что примирился с этим. „Живут же так устрицы“.—„Я нахожу даже, что ничего... устрицей быть недурно“—пишет Тургенев ¹⁾). Он утешается тем, что мог бы ослепнуть, лишиться ног и т. д., а он даже работать может.

Таково настроение писателя в этот период болезни. Это не унылость, не падение духа, уверяет он своих русских друзей, это просто резиньяция, „резиньяция старческая“, как говорит он в письме к Савиной, уверяя ее, что постарел на десять лет. „День пережит... и слава Богу!“—цитирует он теперь Тютчева ²⁾).

Чем дальше, тем настроение это все прогрессирует. Зимой Тургенев уже пишет, что окончательно и бесповоротно убедился в неизлечимости недуга, не питает ни малейшей надежды ни на выздоровление, ни на возвращение на родину.

В ноябре Тургенев переезжает из Буживаля в Париж и здесь, все в том же положении, проводит зиму.

Великий писатель, в этот период болезни, по состоянию духа, выработавшемуся в результате болезни, являет сходство, и я бы сказал разительное, с одной из собственных своих героинь, с... Лукерьей—„Живыми мощами“.

Смирившийся духом, не могущий ни ходить ни стоять, автор „Записок Охотника“ чувствует и мыслит так же, как и седьмой годок без движения лежащая „в сарайчике“ Лукерья. Она—„привыкла“ к своему положению, он—„примирился“ со своей неизлечимой болезнью. Покорная судьбе, окостеневшая страдальца „приучила себя не думать, а пуще того не вспоминать“ и точно также,

¹⁾ Л. Б. Бертенсону 13 октября и Ж. А. Полонской 17 октября 1882 г.

²⁾ Письма к Ж. А. Полонской от 31 октября и 2 декабря 1882 г., к М. Г. Савиной от 29/17 августа.

прикованный к креслу, писатель, „махнув рукой на выздоровление“, старается „не думать о болезни“ и хочет лишь жить „поклева Богу угодно“. И даже утешенье у обоих, и у автора и его героини, одно и то же: „иным еще хуже бывает“, „а иной слепой или глухой! А я, слава Богу, вижу прекрасно и все слышу“—говорит Лукерья. И то же самое, вслед за ней, говорит Тургенев: „Я мог бы ослепнуть, ноги могли бы отняться и т. д. А теперь даже работать можно“.

Так, такие противоположные полюсы—стоящий на высшей ступени ума и образования великий писатель и безхитростная крепостная—путем долгих и тяжелых страданий пришли к одному мирозерцанию, одинаковым переживаниям, заговорили одним языком.

Так действует великая и непреодолимая сила—страдание; физическое страдание и нравственная мука.

III

Всю болезнь Тургенева можно разделить на два периода. Второй—период резкого ухудшения, страшных нечеловеческих страданий—начинается в январе 1883 г.

В начале этого месяца больному была сделана операция. В нижней части живота, доктором Сегоном вырезана была давняя его неврома, с некоторых пор ставшая болезненной¹⁾. Операция прошла удачно. Тургенев даже „рад, что освободился от дурацкого

¹⁾ „Я сам в воскресенье ложусь под операторский нож“—писал Тургенев М. М. Стасюлевичу 10 января 1883 г. (22 декабря 1882 г.).—„Мне из брюха вырезают невром, который завелся у меня 24 года тому назад—и вдруг чорт знает с чего—начал расти и пухнуть“ („М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке“, III, 226).

неврома¹⁾. Так как его не хлороформировали, то у него осталось от операции ясное воспоминание: „Я анализировал свою боль,—сказал он Альфонсу Додэ,—чтобы быть в состоянии описать ее Вам, полагая, что это может заинтересовать Вас“²⁾.

До заживления раны он должен был в продолжение двух недель лежать в постели и вот в это-то время вновь стали усиливаться прежние его боли и старая болезнь разыгралась с новой, страшной и небывалой еще силой, чтобы на этот раз не выпустить его уже до самой смерти. С этого времени начинается для больного писателя полоса настоящего мученичества. „Никогда мне не было так худо“—пишет Тургенев в январе. — „Теперь уже вся грудь и спина и бока болят“, даже во время лежания и сидения, „особенно жестоки ночи, спать возможно только при вспрыскивании морфином“³⁾.

Борьба между „невообразимо мучительным недугом и невообразимо сильным организмом“ разгоралась⁴⁾. Особенно страшными для больного месяцами были март и апрель. „Страдания дошли до такой невероятной силы“—пишет П. В. Анненков

1) Письмо к Ж. А. Полонской от 11 января 1883 г. Подробно Тургенев описывает операцию в письме к Л. Б. Бертенсону от 6 января. „Бертенсон был у нас на днях и прочел то, что Вы ему пишете“,—писала Тургеневу, после операции, Ж. А. Полонская. (Письма Полонских к Тургеневу неизвестны. Цитирую по отпуску (ненапечатанному), находящемуся в Пушкинском Доме).—„Я невольно подумала—Вы герой. Жаль только, что операция эта не избавила Вас от грудных болей и что, несмотря на вырезанный невром, Вы также страдаете“.

2) „Иностранная критика о Тургеневе“. Изд. 2-е, стр. 106. „Un véritable homme de lettres, que notre vieux Tourguéneff—заносят в свой дневник Гонкур.—On vient de lui enlever un kyste dans le ventre et il disait à Daudet, qui est allé le voir ces jours-ci: „Pendant l'opération, je pensais à nos dîners, et je cherchais les mots, avec lesquels je pourrais vous donner l'impression juste de l'acier, entamant ma peau et entrant dans ma chair... Ainsi qu'un couteau qui couperait une banane“ („Journal des Goncourt“, t. VI, p. 256).

3) Письма к А. В. Топорову от 17 января, к Л. Б. Бертенсону — от 19 января, Ж. А. Полонской—27 января 1883 г.

4) Письмо П. В. Анненкова к М. М. Стасюлевичу 1 мая 1883 г. („М. М. Стасюлевич и его современники“, III, 415).

М. М. Стасюлевичу,— „что рассудок его помешался, подорванный отчасти и количеством морфия, введенного в его кровь, он требовал яда, просил смерти, прогнал от себя наиболее близких ему лиц, называя их всех заговорщиками, свершающими над ним легальное убийство, и называя m-me Viardot страшной женщиной, перещеголявшей леди Макбет“.

„К физическим мучениям присоединилось еще и психическое расстройство—писал в апреле, один из лечивших Тургенева врачей, доктор Гирц д-ру С. П. Боткину,—выраженное смутными представлениями о преследовании, страстным враждебным отношением ко всем окружающим его лицам, систематическим недоверием к своим самым преданным друзьям. Время от времени у больного являются помыслы о самоубийстве и даже человекоубийстве“¹⁾.

Желавшая посетить его, в апреле, русская дама застала на дворе суматоху: „Ночью сделался припадок с Тургеньевым, как говорили в доме, сумасшествие“²⁾.

То был обычный для него, во время страданий, бред.

Печатаемое здесь впервые письмо А. Ф. Онегина, приближенного к Тургеньеву лица, к П. В.

¹⁾ „Мнение С. П. Боткина о ходе болезни И. С. Тургеньева“. (Читано в Обществе русских врачей 27 октября) — „Новости“ 29 октября 1883 г., № 209. „Проф. Бруардель и Шарко, которых призывали на консультацию, приписывали это психическое расстройство сердечному бреду“. „Теперь, когда истина страданий И. С. открыта, когда суть его страданий оказалась в раковом поражении костей позвоночника—говорит С. П. Боткин,—мы знаем, что случай бреда и психического расстройства при этой болезни не составляет редкости. Может-быть, это расстройство, сопровождающееся бредом, вызывается страшными мучениями, а, может-быть, сильными дозами морфия, но при раке это расстройство бывает часто“ (там же).

Доктор Н. А. Белоголовый, исследовавший Тургеньева несколько раз, также отмечает уклонение в его психике. В мае 1883 г. больной удивил его, высказав убеждение, что причина его болезни в том, что он отравлен, рассказал длинную, весьма фантастическую и нелепую до крайности историю отравления и на все доводы и возражения твердил: „поверьте, это так, и уж знаю“ („Новости“, 1883 г., № 158).

²⁾ М. В. Олсуфьев, „Воспоминания об И. С. Тургеньеве“. „Исторический Вестник“, 1911 г., март, стр. 863.

Анненкову¹⁾, приезда которого в Париж больной с нетерпением ждал, рисует не только его печальное положение, но и то удрученное состояние, в котором находились окружающие его лица, свидетели его нечеловеческих страданий.

Paris 19/IV. „Знаменитый Шарко, друг, по... (одно слово вырезано, вместе с почтовой маркой) убийца Бруардель²⁾ и полнейшее невежество—незнание—убийца жид Гирц³⁾, доведши до галлюцинаций, подписали сегодня на консультации, не ими самими написанный совет не принимать никого в продолжение несколько дней (??), а в эти несколько дней, продолжая вспрыскиванье, быть-может, убьют окончательно. На основании этих сведений, распорядитесь относительно времени своего приезда. Убитый Онегин“⁴⁾.

¹⁾ За разрешение воспользоваться им приношу мою благодарность С. А. Переселенкову, в руках которого оно ныне находится.

²⁾ Бруардель (Paul BroUARDEL)—известный парижский врач, профессор Парижского Медицинского факультета, автор научных трудов.

³⁾ Гирц—известный парижский врач, ученик Бруарделя. Его, между прочим, рекомендовал Тургенев Савиной, во время ее пребывания в Париже.

⁴⁾ Эта озлобленность против пользовавших больного врачей может быть объяснена только удрученным состоянием духа Онегина. Вскрытие тела Тургенева (произведенное тем же Бруарделем вместе с доктором Сегоном), обнаружившее рак спинного мозга (по заключению производивших вскрытие врачей, Тургенев умер от раковой болезни — Мухо-Sarcoma), показало, что медицина была бессильна. (См. протокол вскрытия тела Тургенева—„Новое Время“ от 16-го октября 1883 г., № 2742).

Указание Онегина на то, что совет не принимать никого не самими врачами написан, является, надо полагать, намеком на м-ше Виардо. По крайней мере, ее обычно обвиняют в том, что она старалась не допускать к Тургеневу его русских друзей.

Лучшим опровержением этого является ее собственное, также еще не бывшее в печати, письмо к тому же Анненкову, написанное почти одновременно, в котором она сама его просит посетить больного.

Вот это письмо:

50. Rue de Douai, 14 Avril (1883). „Cher Monsieur. Notre pauvre ami m-r Tourgueneff est bien malade. Il m'a dit, il y a quelque temps que Vous comptiez aller en Russie et je viens Vous prier de venir auparavant le voir. Faites cela, je Vous en prie, car Dieu sait si Vous le retrouverez.

Revez, Cher monsieur, mes souvenirs bien affectueux. P. Viardot.

Mon mari est très malade depuis 3 mois. Ah, je Vous assure que nous sommes bien malheureux dans la maison, je Vous assure“.

Это письмо, дышащее заботливостью о больном, показывает вместе с тем с какой осторожностью нужно относиться к тем нападкам на м-ше Виардо, которые так у нас приняты.

Кризис, как бы то ни было, миновал. „С ужасом и со слезами он вспоминал о нем, помня все его подробности и прибавив, что если когда-нибудь он возвратится к литературной деятельности, то опишет физические страдания, приводящие к безумию. „Я был на дне моря и видел чудовища и сцепления безобразнейших организмов, которые никто не описывал, потому что никто не воскресал после таких спектаклей“¹⁾.

„Все это время мне было так плохо — пишет 11-го апреля, после полуторамесячного перерыва, Ж. А. Полонской Тургенев,—что я начинаю думать: „не конец-ли?“ Третьяго дня, ночью, у меня прорвался какой-то кровяной, внутренний, кровяно-гнилостный нарыв, и с тех пор мне полегче“, „Мне кажется, что недель шесть голова моя была в каком-то тяжелом тумане до тех пор, пока меня не перевезли сюда“, говорил Тургенев д-ру Белоголовому в мае, уже в Буживале, куда его вновь перевезли из Парижа²⁾.

Заметим, что именно теперь почувствовал великий писатель смерть, с этого времени она рисуется ему в образе смерти-избавительницы. В апреле, посетившей его русской даме³⁾, бледный, как смерть, и точно вылитый из воска, лежащий, по выражению рассказчицы, как опрокинутый дуб, он рассказал, что чувствует, что умирает. Теперь он мог бы сказать словами одного из своих героев: „смерть уже приближается с возрастающим громом, как карета ночью по мостовой: она здесь, она пор-

¹⁾ Письмо П. В. Анненкова к М. М. Стасюлевичу от 1 мая 1883 г. („Стасюлевич и его современники“, III, 415).

²⁾ См. „Новости“ 1883 г., № 158. Рассказ Белоголового о болезни Тургенева перепечатан в книге: Н. А. Белоголовый, „Воспоминания и др. статьи“ СПб. 1901 г., стр. 409—419.

³⁾ Олсуфьевой—„Ист. Вестник“, 1911 г., март, стр. 863.

хает вокруг меня, как то легкое дуновение, от которого поднялись дыбом волосы у пророка¹⁾.

В мае, сообщая Полонским, что болезнь все усиливается, страдания постоянные, невыносимые, надежды никакой, он пишет: „жажда смерти все растет и мне остается просить вас, чтобы и вы с своей стороны пожелали бы осуществления желания вашего несчастного друга“²⁾.

С переездом в Буживаль наступило некоторое облегчение, но и теперь, в пароксизмах боли, он страдает невыносимо, его схватывает и держит в каких-то гигантских тисках и в эти минуты он кричит так, что слышно в рядом стоящем доме Виардо.

Болезнь медленно, но верно точила силы больного.

Жестокие страдания отразились и на его наружности. Навестивший его в Буживале художник Верещагин был поражен, увидев великого писателя не могучим великаном, как прежде, величественным, с красивой головой, а лежащим на кушетке, свернувшись калачиком, каким-то небольшим, тощим, желтым, как воск, с ввалившимися глазами и мутным взглядом. „Я страдаю так, что по сту раз в день призываю смерть. Я не боюсь расстаться с жизнью“, вот что услышал он от него³⁾.

В июне и июле продолжалось то же. У окружающих он несколько раз просил яду, говорил, что почитает себя умирающим⁴⁾.

В конце июля наступило как-будто небольшое облегчение. Посещавшим его в это время казалось даже, что он поправится. „Теперь я сам уверен— сказал Тургенев 31-го июля М. М. Стасюлевичу,—

1) „Дневник лишнего человека“.

2) Письмо от 12 мая 1883 г.

3) В. В. Верещагин, „Очерки, наброски, воспоминания“, стр. 135.

4) А. Лукашина, „Мое знакомство с И. С. Тургеневым“. „Северный Вестник“, 1887 г., № 3, стр. 85—86.

что проживу еще месяца три¹⁾). Как ни печальны эти слова, но они оказались слишком оптимистичными: „его сил в борьбе с отчаянной болезнью достало только на три недели“.

За две недели до кончины, он продиктовал т-те Виардо свой последний рассказ „Une fin“ — „Конец“. „Дней за пятнадцать до своей кончины он велел позвать меня к постели—рассказывает она²⁾.—Он сказал мне, со слезами на глазах, что хочет просить у меня большой услуги, которой никто другой в мире, кроме меня, не может оказать ему: „Я хотел бы написать рассказ, который у меня в голове, но это слишком утомило бы меня, я не смог бы“. Он продиктовал рассказ на разных языках, по мере того, как находил подходящие слова и обороты фраз, которые лучше и скорее выражали его мысль, а т-те Виардо излагала все по-французски. После нескольких коротких сеансов, рассказ был окончен.

За неделю до смерти наступило вновь ухудшение; припадки возобновились с прежней силой. Когда, за пять дней до смерти, навестил его Мопассан, он сказал ему: „дайте мне револьвер, они не хотят мне дать револьвер, если вы дадите мне револьвер, вы будете моим другом“³⁾.

В четверг, 18-го августа, начался бред. В субботу умирающий простился со всеми, но затем впал в бессознательное состояние, продолжавшееся уже до самой смерти¹⁾.

В воскресенье им стало овладевать возбуждение, постепенно усиливавшееся. Он начал говорить с окружавшей его семьей Виардо по-русски, так что

¹⁾ М. Стасюлевич, „Из воспоминаний о последних днях И. С. Тургенева“ — „Вестник Европы“ 1883 г., октябрь, стр. 851.

²⁾ В письме к М. М. Стасюлевичу от 7 июня 1885 г. („М. М. Стасюлевич и его современники“, III, 267).

³⁾ „Новое Время“, 1893 г., № 6346.

только князь А. А. Мещерский, находившийся у его постели с утра воскресенья, и отчасти м-те Виардо могли понимать его слова ¹⁾). „Веришь ли ты мне, веришь,—говорил он, обращаясь к зятю м-те Виардо—Шамеро—я всегда искренно любил, всегда, всегда, всегда был правдив и честен, ты должен мне верить... Поцелуй меня в знак доверия... Я тебе верю, у тебя такое славное, русское, да, русское лицо“. Речи его начали становиться бессвязными. „Ближе, ближе ко мне—говорил он, вскидывая веками во все стороны и делая усилия обнять дорогих ему людей: пусть я всех вас чувствую тут около себя... Настала минута прощаться... прощаться... как русские цари... царь Алексей... царь Алексей... Алексей второй... второй“. На одну минуту больной узнал Виардо, которая пододвинулась к нему ближе, он вострепнулся и сказал: „вот царица цариц, сколько она добра сделала!“ Потом обратился к ее замужней дочери, стоявшей на коленях у изголовья, и стал ей внушать, все же говоря по-русски, как она должна воспитывать сына: „пусть он и непоседливый, непоседливый, непоседливый мальчишка, лишь бы был честным, хорошим, хорошим“... У него стали прорываться простонародные выражения. Впечатление получалось такое, будто он представляет себя умирающим русским простолюдином, дающим напутствования и прощающимся с чадами и домочадцами ²⁾).

Последними словами умирающего были: „Прощайте мои милые, мои белесоватые“ ²⁾).

¹⁾ Мещерский, А. А. кн., „О последних днях Тургенева“—„Новое Время“, 3 сентября 1883 г. № 2699, перепечатано в брошюре „На память об И. С. Тургеневе“, СПб. 1883 г., стр. 16—19.

²⁾ Верещагин, В. В., „Очерки, наброски, воспоминания“, стр. 141.

В произведениях Тургенева мы находим описание смерти, происшедшей при чрезвычайно сходных условиях. Иван Матвеевич Колтовский (повесть

„В понедельник утром опять появились признаки возбуждения, выражавшиеся уже не в речах, а в движениях и жестах больного: рот его часто косило влево, дыхание не приподнимало более груди, а отражалось в одной лишь диафрагме, пульс стал до того неровен, что никак нельзя было высчитать среднего биения, и по временам совсем упал“¹⁾.

Около двух часов он начал дышать с необыкновенной силой и хрипом, делая усилия приподняться, лицо его передернулось, брови насупились, из горла и рта вырвались полусдавленные восклицания: А-а! Так прошло несколько минут. Ровно в 2 часа дня руки его вытянулись с последним глубоким вздохом, голова безжизненно откинулась на подушку¹⁾.

Великого писателя не стало.

„Черты лица приняли тотчас спокойный, но необыкновенно ласковый и мягкий отпечаток“¹⁾. „Он был дивной красоты на смертном одре,—пишет дочь т-те Виардо. Марианна Дювернуа²⁾.—Его прекрасное лицо, столь похудевшее и изменившееся, приняло выражение спокойствия и улыбки, как при жизни“.

„Несчастная“) был „совершенный француз“. Изъясняясь он исключительно по-французски, „почти совсем не умел говорить по-русски и презирал наше „грубое наречие“, se jargon vulgaire et rude“. И, тем не менее, умирая, он два раза сряду повторил: „Вот тебе бабушка и Юрьев день“.— „И будто это были его последние слова—пишет в истории своей жизни героиня повести,—но я не могу этому верить. С какой стати он заговорил бы по-русски, в такую минуту и в таких выражениях!“.

Тот же вопрос можем и мы задать по отношению к самому автору „Несчастной“, на смертном одре заговорившему с французской семьей, с которой он всю жизнь изъяснялся языком истого француза, словами русского мужика. (Смерти этого мужика он посвятил прекрасные строки: „Удивительно умирает русский мужик! Состояние его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушным, ни тупостью, он умирает, словно обряд совершает: холодно и просто“).

В этом странном сходстве хочется видеть какой-то непонятный нам смысл.

¹⁾ См. воспоминания А. А. Мещерского („Н. Вр.“ 1883 г. № 2699), и М. М. Стасюлевича („В. Евр.“, 1883 г., № 10).

²⁾ Письмо к Е. Апрелевой-Браламбер (Е. Ардов) от 18 октября 1883 г. („Русские Ведомости“. 1904 г., № 25).

„Он никогда при жизни не был так красив, можно даже сказать, так величествен“—вспоминает М. М. Стасюлевич;—„следы страдания на второй день исчезли совсем, распустились и лицо приняло вид глубоко задумчивый, с отпечатком необыкновенной энергии, какой никогда не было заметно и тени при жизни, на вечно добродушном, постоянно готовом к улыбке, лице покойного“.

IV

Смерть-избавительница освободила Тургенева не только от страдания физических; она положила предел и тем тяжелым душевным переживаниям, которые, перед лицом неведомого, не могли не поглощать его.

Писатель, в течение всей жизни не перестававший думать о великой загадке, всю жизнь чувствовавший страх перед страшной, неизбежной силой, угнетаемый ее неотвратимостью, не мог не переживать, не перестрадать многого, когда эта „старуха“, посещавшая до сих пор лишь его близких, подошла вплотную и к нему,—другими словами, когда смерть, из области лишь обсуждаемого, правда, уже давно и со страхом ожидаемого, но такого, в сущности, далекого, стала реальностью и, что самое страшное, отчетливо сознаваемой.

Что же произошло в душе автора „Живых мощей“, когда он сознал, что умирает?

В душе его, не верующего человека, не могшего, хотя, может-быть, и желавшего в религии найти утешение,—человека, для которого естественность смерти была страшнее всего, должно было что-то шевельнуться, произойти что-то новое.

Да, он, всю жизнь смерти боявшийся, встретил ее не с усугубленным страхом от ее близости, как этого можно было ожидать, а спокойно и мужественно, без всякого страха.

В душе великого писателя на смертном одре произошел перелом.

И если до этих пор в нем все еще жила душа того девятнадцатилетнего мальчика, который на горящем пароходе, в смертном страхе, взывал о спасении, то теперь это душа кроткой страдальицы Лукерьи.

Смерть переменяла для него самый свой образ. Она уже для него не та — ибо он сам уже не тот. Призывающий ее, эту всепоглощающую силу, в минуты страшных страданий, — он и в минуты отдыха от боли не цепляется малодушно за жизнь, в эти минуты он просто спокоен. Человек, скованный долгой болезнью и спокойно говорящий о том, что жизнь его исчисляется днями, разве это тот Тургенев, который малодушно, по его выражению, „поджимал хвост“ при одном известии о холере. Нет, это уже не тот. Это новый Тургенев, немощный телом и великий душой.

Близость смерти, этой высокой, тихой, белой женщины в длинном покрове, с никуда не смотрящими глубокими бледными глазами, примирившей его уж раз с когда-то коротким, близким другом¹⁾, внесла теперь примирение в его собственную душу.

Уже одно его знаменитое предсмертное письмо к Толстому это доказывает²⁾. Каждое слово этой,

¹⁾ Стихотворение в прозе „Последнее свидание“.

²⁾ В нем благородство и чистота духа умирающего писателя выражены с такой неотразимой силой, что мы не можем не привести его вновь, хотя оно и достаточно известно: „Милый и дорогой Лев Николаевич, долго вам не писал, ибо был и емь, говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу, и думать об этом нечего. Пишу же я вам собственно, чтобы сказать вам, как я был рад быть вашим современником, и чтобы выразить вам мою

писанной карандашом, слабеющей рукой записки, дышащей такой любовью, таким примирением, глубоко проникнуто его предсмертным настроением.

Картина умирающего писателя, знающего неизбежность близкой смерти и находящего в себе силы, чтобы написать человеку, который много лет преследовал его неприязненной оценкой, написать только для того, чтобы сказать ему, что он рад был быть его современником, и послать трогательную последнюю просьбу — эта картина полна величия.

Отречение от всего земного так и сквозит в ней. Писатель, стоящий одною ногой в гробу, очевидно явственно сознает, что лишь дни отделяют его от того мира неведомого, разгадать загадку которого он пытался с юношеских лет. Для него более не существует прежнего его девиза „greifen ins volle menschenleben“, ибо самая это menschenleben должна казаться ему слишком мелкой, слишком суетной и ничтожной; он выше ее, он поднялся до высот, достигнуть которых удел немногих, удел лишь избранных.

V

У нас часто говорят о тяжелых условиях, одиночестве, чуть ли не заброшенности, в которых будто бы находился Тургенев во время предсмертной болезни.

С этим согласиться никак нельзя.

последнюю, искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар ваш оттуда, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если бы мог подумать, что просьба моя так на вас подействует!! Я же человек конченный — доктора даже не знают, как назвать мой недуг, *neuralgie stomacale goutteuse*. Ни ходить, ни есть, ни спать, да что! Скучно даже повторять все это! Друг мой, великий писатель русской земли — внимайте моей просьбе! — Дайте мне знать, если вы получите эту бумажку и позвольте еще раз крепко, крепко обнять вас, вашу жену, всех ваших... Не могу больше... Устал!" („Первое собрание писем", стр. 550).

Да, наш великий писатель умирал не среди родной семьи, но ее ведь он никогда не имел и всю жизнь прожил, приютившись на „краешке чужого гнезда“. Нам кажется, что это гнездо, особенно в последние годы жизни, когда он жил в нем, окруженный любимыми им дочерьми m-me Виардо, не было таким чужим, как его рисуют.

Не пытаясь разрешить в настоящей статье вопроса об отношениях Тургенева к Виардо вообще, а говоря лишь о предсмертном периоде его жизни, нужно признать, что в долгие и тяжелые месяцы болезни оно оказалось на высоте. Уход за больным писателем был, не только по его словам, но и по свидетельству лиц, несомненно беспристрастных, прекрасным.

Говоря так, мы при этом не забываем, что на некоторых его посетителей обстановка, в которой он находился в Париже, производила тяжелое впечатление. М. Г. Савина, бывшая там в самом начале болезни писателя, в письме к Я. П. Полонскому¹⁾ пишет: „При всем желании видеть Ивана Сергеевича каждый день, я лишаю себя (а, может-быть, и его) этого удовольствия. Обстановка мне очень не понравилась и мне тяжело бывать там“. А по приезде в Петербург, Савина рассказала о своем впечатлении Полонским, повидимому, сильно сгустив краски. Последние, как искренние друзья писателя, забеспокоились, и Тургеневу, в письмах, приходится их успокаивать: Савина — чудачка. „Из всех моих 4 комнат она видела только одну — спальню, которая не меньше и не ниже обыкновенных парижских спален. Музыка подо мной не только не надоедала мне, но я даже истратил 200 фр. для

¹⁾ См. нашу статью „М. Г. Савина и болезнь Тургенева“ („Бирюч“. Сборник II, 1921 г.), где оно напечатано впервые.

устройства слуховой длинной трубы, чтобы лучше ее слышать¹⁾. „Жалеть обо мне можно было только потому, что я болен, и кажется неизлечимо; во всех других отношениях я как сыр в масле катался. То же и теперь продолжается здесь (в Буживале): и болезнь неизлечимая, и всевозможные за мной уходы и удобства“¹⁾. А в одном из предыдущих писем²⁾ он пишет: „Что же касается до ухода за мной, то он, как Гоголевские индюшки,— даже противно смотреть, как это все обильно и жирно“.

Думается, что Тургенев был искренен. По крайней мере, такой беспристрастный человек и друг, как М. М. Стасюлевич, подтверждает это, рассказывая, как он был „свидетелем тех самых нежных забот, которыми был окружен наш больной. Мучения и боли делали его, естественно, нетерпеливым и в высшей степени раздражительным,— пишет он,— и надобно было иметь неистощимый запас терпения и спокойствия, а вместе и привязанности к страдальцу, чтобы охотно и без утомления следить за каждым его движением, уступать его желаниям и вместе настаивать на исполнении предписаний доктора, редко приятных больному“³⁾.

Доктор Н. А. Белоголовый свидетельствует, что „пребывание Тургенева в Буживале было обставлено редким домашним комфортом“ и что „уход за собой семьи Виардо Иван Сергеевич сам признавал идеальным и не мог им достаточно нахвалиться“⁴⁾. Точно также и Людвиг Пич, в своих вос-

¹⁾ Письмо к Я. П. Полонскому от 30 мая 1882 г. („Перв. собр. писем“, стр. 436).

²⁾ От 13 мая 1882 г.

³⁾ М. Стасюлевич, „Из воспоминаний о последних днях И. С. Тургенева“ — „Вестн. Европы“, 1883 г., № 10, стр. 850.

⁴⁾ „Новости“, 1883 г., № 158; то же в книге „Воспоминания и другие статьи“ Н. Белоголового. 4-е изд. 1901 г., стр. 417.

поминаниях¹⁾, говорит: „ семья его друга (Луи Виардо), умершего несколькими месяцами раньше, неутомимо исполняла тяжелые обязанности ухода за ним²⁾).

Таким образом приходится признать, что Тургенев во время болезни был окружен и нежными заботами, и тщательным уходом семьи, с которой он прожил всю свою жизнь, и что о какой-либо покинутости или заброшенности не может быть и речи.

Чем же объяснить, в таком случае, те рассказы, которые стремятся изобразить иную картину?

Нужно различать две причины. С одной стороны, конечно, в комнатах его парижской квартиры (в верхнем этаже дома, занимаемого m-me Виардо), в которых видела его Савина в начале болезни,

¹⁾ „Иностранная критика о Тургеневе“. Изд. 2-е, стр. 93.

²⁾ Лучшим подтверждением искренности Тургенева, лучшим показателем того ухода и заботливости, которыми больной был окружен, являются письма дочери m-me Виардо, Марианны Дювернуа, к Е. И. Бларамбер-Апредевой (Е. Ардон). Согретые неподдельной теплотой и искренней печалью, они видят нас в ту атмосферу, которой он был окружен во время болезни:

Les Frères, Bougival, le 5 mai 83 ... „Мы все теперь собрались около нашего дорогого больного Тургенева, который все еще очень плох; однако, ему с некоторых пор немного лучше, но, к несчастью, всегда надо опасаться возобновления припадков. Не будет ли жара иметь такой же счастливый результат, как и прошлым летом? На это мы надеемся и желаем этого от всего сердца... Несмотря на все наши заботы, полные любви и сном, это желание приблизительно все, что мы можем для него сделать... Какая жестокая болезнь и какого бедного мученика она из него сделала!“

Les Frères, Bougival, le 18 Octobre 83... „Простите, что я так долго не отвечала на Ваше письмо. Не знаю, как протекло время, но наша большая печаль и тысяча забот и дел, последовавших за кончиной нашего дорогого друга, безусловно поглотили и наполнили все наше существование. Мы находимся еще под гнетом этой жестокой утраты и не можем привыкнуть к мысли, что навсегда должны отказаться от мысли увидеть вновь того дорогого дорогого друга, которого мы так нежно любили, и который, в свою очередь, так нас нежно любил. Мысль, что мы могли окружить его заботами до самой его смерти—слабое утешение для нас... А эта смерть, которую он призывал так давно и которая освободила его от невыразимых сгряданий, не менее для нас ужасна; пустота, которую он оставил после себя, неизмерима и никогда не будет наполнена. Мы проживем здесь еще некоторое время, не имея духа покинуть Les Frères, которые наш дорогой усопший так любил и которые теперь наполнены грустными сладостными воспоминаниями! Мне всегда тяжело входить в шале, где наш бедный Тургенев так сильно страдал, и где мы проводили такие печальные дни, приходя в отчаяние, что так мало в состоянии облегчить его муки“. („Русские Ведомости“, 1904 г., № 25).

действительно заметны были, как мы знаем по воспоминаниям А. Ф. Кони, и следы неряшливости и отпечаток беспорядка, так часто встречающиеся в комнате старого холостяка¹⁾.

Но есть и другая причина, нам кажется, более важная. Это — чувство, которое питали некоторые русские его друзья к Виардо — я позволил бы себе назвать его ревностью, — а вместе с тем и коренное непонимание самых отношений Тургенева к этому семейству.

Сохранившиеся в архиве Полонских²⁾, отпуски писем к нему Ж. А. Полонской (никогда не бывших в печати) дают этому яркие доказательства. Например, в письме от 12-го октября 1882 г., она пишет ему: „Я никогда не сомневалась в Вашей доброте, знаю, что каждому Вы готовы помочь, кто только руку за помощь протянет к Вам. Но к тем, которые Вас искренно любят, Вы не всегда добры — часто старались их отдалить от себя и Ваша душа была всегда для них закрыта... Вы верите только одному семейству, и это семейство для Вас заключает весь мир... Но на Вашу заграничную привязанность никто не в праве роптать — если бы только Вы понимаете (понимали?) насколько Вы можете быть дороги тем из русских, которые любят Вас...“.

И Тургеневу приходится уверять своих русских друзей, ревнующих его к французским, в своей любви. „Прошу Вас быть уверенной — писал он

¹⁾ Если такое впечатление могли произвести парижские комнаты Тургенева, то дача его в Буживале, где протекла большая часть болезни, наоборот, обращала внимание своим комфортом. „Насколько тесно и скромно было парижское помещение Ивана Сергеевича — пишет Е. Апелева-Ардов („Русск. Вед.“ 1904 г., № 15), — настолько просторной, изящной, изысканно уютной и художественно обставленной была его дача „Les Frères“, где он проживал большую часть года“.

²⁾ Находится в Пушкинском Доме.

17-го июня 1882 г. Ж. А. Полонской, — что, как ни дороги и близки мне мои здешние друзья, русские друзья столь же мне дороги“.

Это ревнивое чувство легко об'яснимо. Естественно, что эти друзья, любившие в нем, в личных отношениях — друга, а как русские люди — великого писателя, среди которых были такие, как Я. П. Полонский, уверявший в письме к художнику Боголюбову (ненапечатанном), что „охотно взял бы на себя страдания Тургенева и умер бы за него ¹⁾...“, должны были питать неприязненное чувство к французской семье, отнимавшей от них и как бы поглотившей, если можно так выразиться, их великого друга ²⁾. Они забывали при этом, что эта семья, хоть и французская, хоть и не понимавшая его последних русских слов, была для русского писателя самой дорогой во всем свете. Вспомним, не входя в оценку этого факта, что дочерей m-me Виардо Тургенев любил больше своей собственной дочери. И если не было около него, в последние минуты, близкого русского человека, то самые близкие для него люди около него были ³⁾. Мне думается, что

¹⁾ То же самое писал он и Савиной (22 апреля 1882 г.): „Не шутя, говорю Вам, что я охотно бы умер вместо него — и вовсе не желаю переживать его“ („Тургенев и Савина“, стр. 44).

²⁾ В ненапечатанных в настоящем Сборнике воспоминаниях Е. М. Феокистова находим еще одно подтверждение высказываемого здесь мнения: „Своих друзей, за исключением двух или трех, ... он не знакомил с г-жей Виардо, и это, как уверяли, будто бы потому, что она вообще питала непреодолимое отвращение к Русским. (Неосновательность этого может быть легко доказана. Л. У.). И у нас платили ей, кажется, той же монетой. Однажды Я. П. Полонский начал говорить Тургеневу при мне, что она возбуждает неприязненное к себе чувство уже потому, что оторвала его от России“.

³⁾ Жить вдали от семьи Виардо было для Тургенева нелюбимым. — „Преданность его этому семейству (Виардо) была безгранична, — вспоминает М. М. Ковалевский. — Когда приятели упрасивали его вернуться и навсегда поселиться в России, он обыкновенно отвечал им: не думайте, что меня удерживает за границей привычка или пристрастие к Парижу; не думайте, что у меня здесь много друзей или близких знакомых... но жить вдали от своих мне тяжело. Пересезай они завтра в самый невозможный город: Копенгаген, что ли, я последую за ними“ („Минувшие Годы“, 1908 г., № 8, стр. 18).

То же самое вспоминает и М. Островская: „Меня часто упрекают — сказал нам Тургенев, — что я живу за границей, обвиняют меня в недостатке па-

умирай Тургенев в родном Спасском, он чувствовал бы себя более одиноким, чем в Буживале. Душой он был бы там.

Мне хочется этим лишь подчеркнуть, что в семье Виардо великий писатель умирал среди самых дорогих для него во всей вселенной людей.

Если никак нельзя согласиться с тем, что Тургенев перед смертью был одинок, заброшен, в тяжелых условиях, то нужно все же признать печальный факт изолированности его от России и всего русского. Говоря так, я вовсе не хочу обвинять в том m-me Виардо и ее семью¹⁾. И без всяких искусственных причин, такая изолированность естественно должна была возникнуть от того, что наш великий писатель умирал за несколько тысяч верст от России, в маленьком французском местечке, и в последние месяцы жизни не был даже в состоянии переписываться со своими русскими друзьями. При таких условиях, общение писателя с Россией поддерживалось (если не считать изредка навещавших его русских) лишь приходившими отсюда газетами.

А желание побывать на родине было у автора „Дыма“ очень сильно. Сознание невозможности его осуществления доставляло ему, конечно, не мало горечи. „Меня не только тянет, меня рвет в Россию — да ты все-таки сиди“! — писал он²⁾ в ответ на призывы вернуться на родину. Эти настойчивые призывы друзей, не сознававших его истинного по-

триотизма, в космополитизме и т. д. Дело просто в том, что я привязался к семейству Виардо и так их люблю, что живи они в Стерлитамаке — я жил бы в Стерлитамаке; они живут в Париже и я живу в Париже“... (Тургеневский сборник, под ред. Н. К. Пиксанова, стр. 102).

¹⁾ Глубоко права была М. Г. Савина, писавшая в 1911 г. А. Ф. Коню: „пора перестать трогать m-me Виардо“ („Тургенев и Савина“, стр. 102).

²⁾ Письмо к Л. Б. Бертенсону от 22 декабря 1882 г. („Пери. Собр. Пис.“, стр. 535).

ложения, еще более растрavляли, и без того болезненную, рану. „Ни о каком путешествии думать нельзя — писал он еще в начале болезни Ж. А. Полонской¹⁾).— И потому будьте так добры, не зовите меня в Спасское... Это только больше мучит меня“.

Эти, связанные с болезнью, переживания несомненно прибавляли к страданиям физическим и муку душевную. И, отбрасывая в сторону всякие обвинения против окружавших его лиц, отрицая утверждения о его заброшенности и одиночестве, этой муки отрицать нельзя.

Смерть Тургенева не только была нелегкой, без преувеличения ее можно назвать страшной.

И, может-быть, его „глухой страх“ был только предчувствием, смутным страхом страданий, бессознательным инстинктом и инстинктом не обманувшим.

VI

„Смерть имеет очищающую и примиряющую силу“— говорит Тургенев в статье о Гоголе,— „клевета и зависть, вражда и недоразумения — все смолкает перед самой обыкновенной могилой“.

На этот раз, может-быть, потому, что могила не была обыкновенной, ничего не смолкло — ни клевета, ни зависть, ни вражда, ни недоразумения и, на ряду с силой примиряющей и об'единяющей, широко разлившейся и захлестнувшей даже самые мелкие углы, волной скорби и любви к ушедшему, на ряду с этим вокруг гроба ярким пламенем разгорелась яростная борьба страстей.

„Над незакрытой еще могилой поэта, у его свежего трупа происходит настоящая свалка“ — такими

¹⁾ 29 июня 1882 г.

словами начинается выпущенная партией Народной Воли, по поводу смерти Тургенева, прокламация¹⁾.

Свалка — слово слишком резкое для охарактеризования того, что происходило вокруг этой смерти, но следует, во всяком случае, признать, что она была превращена в орудие политической борьбы.

На завтра же, после отпевания тела Тургенева в Париже, П. Л. Лавров опубликовал в газете „Justice“, редактором которой состоял знаменитый Клемансо (в то время социалист), письмо, в котором сообщал, что Тургенев, по собственной инициативе, предложил ему содействовать изданию революционного органа „Вперед“ и с этой целью, в течение трех лет, вносил по 500 фр. ежегодно. Письмо Лаврова, сообщившего, как мы теперь знаем, про действительный факт²⁾, преследовало, конечно, политические цели. Политические же цели преследовал и Катков, без всяких комментариев перепечатавший

¹⁾ Листок „И. С. Тургенев“, Спб. 25-го сентября 1883 г., издан Партией Народной Воли ко дню похорон Тургенева (см. „Литература партии Народной Воли“. Спб. 1905 г., стр. 951).

²⁾ „Любезнейший Петр Лаврович, — писал Тургенев Лаврову 21 февраля 1874 г., — я вчера сгоряча обещал немножко более, чем позволяют мои средства: 1000 франков я дать не могу, но с удовольствием буду давать ежегодно 500 фр. до тех пор, пока продержится Ваше предприятие, которому желаю всяческого успеха. 500 фр. за 1874 г. при сем прилагаю“ („Былое“, 1906 г., № 2, стр. 215).

В статье „Тургенев и развитие русского общества“, напечатанной в „Вестнике Народной Воли“, Лавров пишет: „Иван Сергеевич не был никогда ни социалистом, ни революционером; но история его научила, что никакие „реформы свыше“ не даются без давления снизу на власть, он искал силы, которая была бы способна произвести это давление, и в разные периоды его жизни ему представлялось, что эта сила может появиться в разных элементах русского общества. Как только он мог заподозрить, что новый элемент может сделаться подобной силой, он сочувственно относился к этому элементу и готов был даже содействовать ему в той мере, в какой терял надежду, чтобы то же историческое дело могли сделать другие элементы, ему более близкие и симпатичные. Поэтому, когда я ему нарисовал картину одушевления и готовности к самоотвержению в группах молодежи, примкнувших в Цюрихе к „Вперед“, он, без всякого вызова с моей стороны, высказал свою готовность помогать этому изданию, первый том которого был уже около полугода в его руках, и программа которого, следовательно, была ему хорошо известна.“ („Вестн. Нар. Воли“. Женева. 1884 г. № 2).

письмо Лаврова в своих „Московских Ведомостях“ (№ 251). Письмо произвело сенсацию. „Много делается тут невероятного по поводу смерти Тургенева“— писал М. М. Стасюлевич своей жене¹⁾. Почти все петербургские газеты перепечатали письмо, но ни одна из них не верила ему, считая сообщение Лаврова лживым и отрицая самую возможность факта²⁾. Стасюлевич выступил с письмом в редакцию „Новостей“ (№ 164), в котором энергично обрушился как на Лаврова, так и на Каткова. Он утверждал, что письмо Лаврова (в лживости его он убежден) является лишь „искусственным маневром“, рассчитанным на действие его в России; цель его — вызвать „распоряжения, которые огорчат все образованное общество в России и в Европе“, что желательно для Лаврова. Цель Каткова, „позабывшегося опубликовать это письмо поближе ко времени встречи тела Ивана Сергеевича“,—ясна.

Такая позиция всей нашей прессы не осталась без ответа со стороны нелегальной, революционной печати. Резко нападал на нее Л. Тихомиров в „Вестнике Народной Воли“. „Иван Сергеевич не был ни социалистом, ни революционером,— писал он — он даже едва ли понимал с должной ясностью социализм вообще и русское социально-революционное движение в частности. Многим чертам последнего он не сочувствовал. Но тем характернее является

¹⁾ „М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке“. Т. III, стр. 238.

²⁾ „В данную минуту—писали „Новости“ 14-го сентября (№ 164)—вся почти печать, без различия цветов, возмущена письмом Лаврова и тем злонамеренным обращением с ним, какое позволили себе „Московские Ведомости“.—„Московские Ведомости“ напечатали письмо, не сопроводив его ни одним словом от себя“—писал в „Новом Времени“ (№ 2709) „Незнакомец“ (А. С. Суворин)—„во это молчание как бы говорит: „вот вам—не угодно ли полюбоваться“. В мнениях о сообщенном Лавровым факте существовало разногласие. Некоторые считали его совершенной выдумкой, другие объясняли денежные взносы помощью самому Лаврову, вызванной мягкосердечием Тургенева, но не его журналу.

его сочувствие движению в общем, как оппозиции против державного деспотизма. Факт этого сочувственного отношения, доходивший иногда даже до содействия, теперь на все лады отрицается и затирается запуганной и приниженной легальной прессой. Из мелких, малодушных побуждений деятели этой прессы, даже пользующиеся репутацией порядочности, позволяют себе зачеркивать в жизни Тургенева ту долю политического чутья и гражданского мужества, которая у него на самом деле всегда была¹⁾.

Последние строки несправедливы. Отрицая сообщенный Лавровым факт, Стасюлевич и люди его лагеря действовали, будучи глубоко убежденными в его лживости. Да и могли ли они ему поверить, когда еще только за три года до того Тургенев, в своем ответе „Иногороднему обывателю“—Боле-славу Маркевичу²⁾, характеризовал себя как „постепеновца“, либерала в английском смысле, человека, ожидающего реформ только свыше, принципиального противника революций?

А за полтора года до смерти, в письме в редакцию „Gaulois“³⁾, по поводу сообщения этой газеты, что он неоднократно спасал Лаврова от высылки, он писал (в переводе): „Спасать г. Лаврова я никогда не имел ни возможности ни случая, а наши политические убеждения до такой степени несходны, что в одном из своих сочинений г. Лавров формально упрекнул меня за то, что, как либерал и оппортунист, я всегда противился тому, что

¹⁾ „Вестник Народной Воли“, № 1, Женева, ноябрь 1883 г., стр. 209—210.

²⁾ Обвинявшему его в „кувыркании“ перед молодежью. Ответ Тургенева напечатан в „Вестнике Европы“. 1880 г., № 2.

³⁾ См. „Le Temps“ 1882 г., 13 février. Перепечатано М. Гершензоном в т. III „Русских Пропилеев“. М. 1916, стр. 275.

он называл развитием революционной мысли в России¹⁾.

Резко и непримиримо подходит к делу прокламация Партии Нар. Воли: „Забитые в угол либералы пытаются протестовать против такой узкой постановки вопроса (против утверждения правого лагеря, что Тургенев был лишь художником поэтом и ничем больше)—но, с другой стороны, им ужасно хочется прицепиться к такому удобному случаю, как погребение Тургенева, и отвести свою наболевшую либеральную душу хотя бы в грандиозной демонстрации легального свойства. Они дрожат и трусят, как бы кто не вырвал у них из рук этого предвкушаемого наслаждения, и с пеной у рта ополчаются поэтому на Лаврова, опубликовавшего известное письмо, клянутся всеми существующими клятвами в чистоте своих помыслов и намерений²⁾. Они забывают при этом даже то, что Тургенев, видя угнетение русской печати, не мог не сочувствовать свободному слову“.

Опасения, что письмо Лаврова вызовет правительственные репрессии, действительно существо-

¹⁾ Как совместить все эти противоречия? Тургенев действительно всегда был верным либералом и „постепеновцем“. Вместе с тем он давал деньги на издание революционного журнала, издававшегося Лавровым, политические убеждения которого с его убеждениями, конечно, не могли быть сходными. Предположение, что Тургенев лишь говорил, что дает на журнал, желая, благодаря своей деликатности, под этим предлогом скрыть помощь самому Лаврову, нам кажется не убедительным. Несомненно, что Тургенев действительно вносил деньги в кассу журнала. (См. его письма к Лаврову—„Былое“ 1906 г., № 2, и „Минувш. Годы“ 1908 г., № 8). Как это объяснить? Нам кажется только одним: Тургенев, будучи „принципиальным противником революций“, вместе с тем мог „сочувствовать движению в общем, как оппозиции против державного деспотизма“ (Тихомиров, см. выше). Убежденный враг этого деспотизма, Тургенев в этом должен был сойтись с Лавровым, в остальном его политическим противником. Это общее между ними и могло побудить его желать успеха революционному журналу.

²⁾ Аналогичные нападки, с не меньшей резкостью, сыпались и с другой стороны. „Факт с притворным пафосом опровергается из опасения, чтоб он не смутил статистов, скликаемых к участию в спектаклях“—писал, в злобной, посвященной этому вопросу, передовице, Катков. („Моск. Вед.“, 1883 г. № 261).

вали у Стасюлевича. „Сегодня была панихида по Тургеневу в Казанском соборе“—писал он 10 сентября своей жене,—„церковь была переполнена, но не было никого ни из высшего общества, ни из правительственных сфер. Лавров может теперь сказать, что он торжествует: его хитрость ему удалась вполне, т. е. ему поверили, несмотря на то, что во всем другом ему же не поверили бы“.

Яростные распри вызвал вопрос об общественном значении Тургенева. Нововременские журналисты и вся правая пресса доказывали, что он имеет значение лишь как художник-поэт, певец красоты¹⁾. Катковские „Московские Ведомости“ утверждали, что „все достоинство его произведений заключается в чистой художественности“ (№ 261) и договорились до того, что и „Записки Охотника“ „не имеют иного значения, кроме художественного“ (№ 247). Впрочем, газета Каткова, у открытого гроба сводившего с покойным старые счеты²⁾, не могла быть равнодушной свидетельницей чествования памяти великого писателя и нисколько не скрывала своей злобы. „Умер Тургенев—пишется в неприличной по тону статье (№ 247), — и всевозмож-

¹⁾ „Делать из имени Тургенева знамя какой-нибудь политической партии—писало „Новое Время“ (№ 2695)—могут только люди, не довольно знакомые с его литературной деятельностью. Тургенев был художником и поэтому не мог заключаться в какую-нибудь узкую политическую доктрину“.

²⁾ В продолжение почти трех недель, вплоть до выступления с перепечаткой письма Лаврова, „Московские Ведомости“ не проронили о смерти Тургенева ни одного слова. „Выше мы сказали“—писали „Новости“ 27-го августа (№ 146)—„говоря о выражении печали по поводу смерти великого русского писателя, что ее разделила почти вся московская печать... Но справке, нашедшей в Москве орган, который прошел полным молчанием эту невознаградимую утрату русского народа. Назвать ли этот орган и искать ли достойного имени для его холодной, мстительной злобы к покойному за то, что он, чуткий к правде и к благу России, разорвал при жизни всякую связь с этим провозвестником мрака и застоя?—Полагаем, проникательный читатель отдадет без труда имя этого мрачного будочника русской прессы, а не отдадет и не поинтересуется им—тем лучше... В минуту народной скорби общее молчаливое презрение вполне достойная казнь этим злецам и мракобесцам, дерзающим еще называть себя патриотами!“

ные прихвостни либерализма накинута на его еще не закрытую могилу, громко требуя поминального угощения“. „Все, что у нас приято известную печать лже-либерализма, сорвалось с мест, носится и мечется, стараясь из всех сил показать свою непосредственную близость к автору „Отцов и Детей“ и потребовать своей доли в воздаваемых его памяти чествованиях“.

Другой крайний лагерь, народовольцы, в своей прокламации дают правой прессе по-своему резкий, но горячий ответ: „В годину небывалого пригнетения родины—читаем мы здесь—эти бульварные руководители общественного мнения (нововременцы) ударяются в область красоты, искусства для искусства и какой-то, якобы высшей, правды, вне условий места и времени; во имя формы глумятся надо всем, в чем просвечивают ненавистная им революционная мысль и чувства. Умер Тургенев—они и его привлекают в свои жирные объятия, и его торопят отделить ревнивой стеной от всякой злобы дня, от русской молодежи, от ее идеалов, надежд и страданий; лицемерно преклоняясь перед ним, лицемерно захлебываясь от восторга, они селятся доказать, что он был художник-поэт и ничего больше, пропагандист отвлеченной от жизни красоты и правды, и что в этом, будто бы, и заключается его великое общественное значение“. Для них же—русских революционеров, оно не в том: „Не за красоту слога, не за поэтические и живые описания картин природы, наконец, не за правдивые и неподражаемо талантливые изображения характеров вообще—так страстно любит Тургенева лучшая часть молодежи, а за то, что он был честным провозвестником идеалов целого ряда молодых поколений, певцом их беспримерного чисто-русского

идеализма, изобразителем их внутренних мук и душевной борьбы“. „Барин по рождению, аристократ по воспитанию и характеру, „постепеновец“ по убеждениям, Тургенев, быть-может, бессознательно для самого себя своим чутким и любящим сердцем сочувствовал и даже служил русской революции“¹⁾. „Покойный не был никогда ни социалистом, ни даже революционером,— писал Л. Тихомиров²⁾,— но русские социалисты-революционеры не могут забыть, что горячая любовь к свободе, ненависть к произволу самодержавия и к мертвящему элементу официального православия, гуманность и глубокое понимание красоты развитой человеческой личности постоянно одушевляли этот глубокий талант и еще более усиливали его общественное значение“.

Таковы две диаметрально противоположные оценки двух крайних полюсов русской общественности 80-х годов. Какое же значение придавал смерти великого писателя третий лагерь, те либералы, которым так попадало и справа и слева, но которые больше всех имели право считать Тургенева своим?

„Смерть великого писателя—событие в истории века“, говорили эти, наиболее близкие Тургеневу, люди³⁾. И для них, для них скорей чем для кого бы то ни было, он, вместе с поэтом, и мыслитель и гражданин. „Протестуя против попыток стусевать или исказить одну сторону деятельности Тургенева“ — писал „Вестник Европы“³⁾,— „мы не намерены утверждать, что тенденциозность была его господствующей чертой, что прежде всего и больше всего он был человеком партии или политической

¹⁾ Листок „И. С. Тургенев“ („Литература партии Народной Воли“, стр. 951).

²⁾ „Вестник Народной Воли“, 1883 г., № 1, стр. 209.

³⁾ „Вестник Европы“, 1883 г., № 10, стр. 779.

группы. Прежде всего он был художником, но это еще не значит, что он был только художником". И среди всей направо и налево выразившейся в те дни скорби, наиболее глубокой, наиболее искренней была скорь этого лагеря. Они действительно могли чувствовать себя точно осиротевшими — смерть вырвала одного из их рядов.

Так реагировали на кончину великого писателя враждующие партии.

Но как отнеслось к ней правительство?

Три смерти великих писателей: Пушкин, Гоголь, Тургенев. В разное время и при различных обстоятельствах они произошли, но отношение к ним правительства оставалось почти неизменным.

17-го сентября всем петербургским газетам был разослан секретный циркуляр (№ 3359) министерства внутренних дел: „не сообщать решительно ничего о полицейских распоряжениях, предпринимаемых по случаю погребения И. С. Тургенева, ограничиваясь сообщением лишь тех сведений по этому предмету, которые будут опубликованы в официальных изданиях“¹⁾. А распоряжения эти были предпринимаемы в изобилии. „Сколько гадостей, сколько мерзостей, и не перескажешь, а писать так никогда не кончишь“ — писал жене своей М. М. Стасюлевич²⁾, на долю которого выпало сопровождать тело Тургенева от границы до Петербурга. Препятствия ставились на каждом шагу. „До сих пор запрещено извещать станции о том, что завтра едет тело — писал он же, за два дня до похорон, — а на вопрос „когда?“ отвечают „еще неизвестно“. Не желают, чтобы по дороге чествовали Турге-

¹⁾ Листок „И. С. Тургенев“ („Литература Партии Народной Воли“, стр. 951).

²⁾ „М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке“, т. III, стр. 238.

нева¹⁾. „Если бы я описал подробности этих трех дней в Вержболове лет через 20, не поверят, что все это было возможно“.

Все это заставляет его воскликнуть: „Ведь можно подумать, что я везу тело Соловья-разбойника!“ В этих нескольких словах весь ответ на поставленный выше вопрос об отношении правительства к смерти Тургенева. „Вот великий руссификатор“ — думал Стасюлевич, глядя на огромные, об'единенные общей скорбью, толпы людей разных национальностей, на всех станциях, даже ночью, выходящих встречать тело Тургенева. „Соловей-Разбойник“ — как бы отвечало правительство, для эскортирования тела приставившее жандармского офицера.

Это отношение проявлялось во всем. Решение петербургской Городской Думы оказать Тургеневу почеть, которой еще никто не удостаивался в России — похоронить его на счет города Петербурга²⁾, было опротестовано градоначальником, ген. Грессером³⁾. Вследствие отмены присутствием по городским делам, согласившимся с протестом градоначальника, решения Думы и жалобы последней в Сенат, началось дело⁴⁾. Тем временем

¹⁾ „21-го сентября Департаментом Полиции телеграфно было приказано псковскому губернатору, виленскому генерал-губернатору и начальнику жандармского управления: „в виду предстоящего на днях по линии Вержболово-Виленской-Петербургской провоза тела покойного писателя Тургенева... принять без всякой огласки, с особой осмотрительностью меры к тому, чтобы... не делаемо было торжественных встреч“ (Ю. Никольский, „Дело о похоронах И. С. Тургенева“ — „Быльсе“. 1917. Октябрь № 4, стр. 148).

²⁾ С этой целью Дума постановила: „Расходы по провозу тела И. С. Тургенева от Вержболова до С.-Петербурга, а также на погребение его, принять на городской счет, для чего потребную сумму, примерно до 3000 рублей, отпустить в Комитет Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым“ (см. „Новости“, 1883 г., № 194).

³⁾ „Храбрый это генерал — писал по этому поводу П. А. Анненков М. М. Стасюлевичу, — который не шадит своего имени и отдает его на позор людям“ („Стасюлевич и его современники“, III, 430).

⁴⁾ Подробности о нем см. в напечатанной в настоящем Сборнике статье А. Ф. Кони — „Похороны Тургенева“, а также в „Известиях Спб. Гор. Думы“, 1895 г., № 25.

Похоронная Комиссия Литературного Фонда, сдавши отчет об израсходовании ассигнованной на похороны суммы, предложила Думе организовать Комиссию по устройству надгробного памятника Тургеневу, делегировав в нее представителя Думы. В ответ на это, Городская Управа сообщила (19 января 1884 г., № 3394), что „в виду отмены присутствием по городским делам постановления Думы об ассигновании денег на расходы по погребению тела покойного И. С. Тургенева и в виду того, что на упомянутое постановление присутствия по городским делам, Городским Управлением подана жалоба Правительствующему Сенату, Городская Управа не находит возможным, впредь до разрешения упомянутого дела Сенатом, возбуждать в Городской Думе вопрос об избрании Комиссии для указанной Комитетом цели“¹⁾.

Долго бы пришлось Комиссии ждать, если бы она не соорганизовалась без представителя Думы, ибо дело, переходя из инстанции в инстанцию, тянулось 12 лет и, не решенное по существу, было по формальным основаниям прекращено.

Так постыдно кончилась печальная повесть о том, как Городское Общественное Самоуправление столицы России хотело оказать великому русскому писателю высокую честь общественных похорон, и что из этого вышло.

„Бедный, бедный Тургенев!“ — писал М. М. Стасюлевич жене из Вержболова — „прости им их прегрешения вольные и невольные: не ведут бо, что творят“.

¹⁾ Дело Комиссии по погребению И. С. Тургенева и установке ему надгробного памятника хранится в Рукописном Отделении Российской Публичной Библиотеки.

VII

Смерть Тургенева была больно почувствована русским обществом. Скорбь по утрате, глубокая и искренняя, сознание ее тяжести, незаменимости широко разлились по всей стране¹⁾. Общество почувствовало какую-то пустоту, почувствовало остро и вдруг²⁾.

„Люди беспрестанно видят, что смерть приходит внезапно, но привыкнуть к ее внезапности никак не могут и находят ее бессмысленной“ — говорит Тургенев в „Дыме“. Так было и на этот раз. „Этого давно ждали, говорят кругом“ — писала М. Г. Савина в письме к А. Ф. Кони — „и я ждала и тем не менее не верю: не хочу, не могу верить“³⁾.

„Есть что-то утешительное в мысли, что из нашей среды не отошел еще тот, кому всякий из нас так многим обязан, что он живет еще нашей жизнью, сознает тесную связь, соединяющую его с нами“⁴⁾.

1) „Смерть Тургенева произвела потрясающее впечатление на русское общество“ — писали „Новости“ (1883 г., № 145). „Это горе делается положительно общим, всенародным“ (№ 148).

2) „Точно что-то оборвалось... Не та ли волшебная нить, которая невидимо связывала лучшие предания прошлого с бурными сомнениями настоящего?.. Плачь, русский народ! Не стало самоотверженного выразителя твоих печалей и идеалов“ („Новости“, № 143).

„Ударил гром... и много лет
Мы темной тучи не разгоним:
Погас наш тихий кроткий свет —
Мы часть души своей хороним!...“

писал С. Андреевский в стихотворении „22-е августа“ („Новости“, № 177).

3) „Как ни подготовляли Россию краткие известия, доходившие из места уединения Ивана Сергеевича, к тому, что мы скоро должны его утратить, тем не менее смерть его должна ошеломить всех, настолько она тяжела и прискорбна“ („Русский Курьер“, 1883 г., № 160).

Это чувство поэтически выразил Надсон:

„Тревожные слухи давно долетали;
Беда не подкралась к отчизне тайком,—
Беда шла открыто, мы все ее ждали,
Но всех взволновал разразившийся гром“.

(„Над могилой И. С. Тургенева“).

4) „Вестник Европы“, 1883 г. № 10. („И. С. Тургенев“ — некролог).

Но тем больней за то, когда мы его теряем. „Жаль потерять Тургенева“—писал в одном письме В. М. Жемчужников¹⁾.— „Это последний из крупных представителей былой нашей литературы, которая была далеко изящнее, многостороннее и человечнее нынешней“. „Да, от России отнялось самое лучшее и изящное, что в ней было“²⁾.

Прекрасным показателем этих чувств может послужить почти совершенно неизвестное письмо Толстого к Тургеневу, написанное при первом известии о серьезной болезни последнего. Письмо это³⁾ для всякого, кто знает историю отношений Тургенева и Толстого, поразительно. Мы не будем касаться этих отношений до 1878 г., когда последовало между ними примирение. Но уже после него, после того, как Тургенев вновь побывал в Ясной Поляне, вновь почувствовал руку Толстого в своей руке, разве не писал Толстой Фету: „Получил от Тургенева письмо и, знаете, решил лучше подальше от него и от греха. Какой-то задира неприятный“⁴⁾.

Но вот Тургенев заболевает опасной и мучительной болезнью. Что же Толстой остался к этому равнодушен? Нет, при первом же известии о серьезности болезни, он почувствовал, как этот задира

¹⁾ К М. М. Стасюлевичу („М. М. Стасюлевич и его современники“, IV, 316, 317).

²⁾ Дело „Комиссии по погребению И. С. Тургенева“ (хранится в Рукописном Отделении Российской Публичной Библиотеки) дает нам возможность отметить одну, хотя и незначительную, но трогательную и забавную для нас сейчас, черточку. Из находящихся в деле, выданных членам Комиссии, подписных листов, мы узнаем, что писатель Скабичевский пожертвовал на устройство надгробного памятника Тургеневу (по листу В. П. Гаевского) — 20 коп. Эта сумма и тогда должна была казаться ничтожной (по тем же листам видны одновременные пожертвования бар. Гинзбурга в 100 руб., Х. Д. Алчевской в 100 руб. и т. д.), но в чувстве горести по утрате не было, повидному, места предрассудкам, не позволяющим жертвовать сумму, могущую вызвать улыбку. Было бы лишь доброе желание.

³⁾ Хранится в Рукописном Отделении Российской Публичной Библиотеки, в Отчете которой за 1908 г. напечатано в извлечениях. Полностью напечатано нами в „Вестнике Литературы“, 1920 г., № 8, стр. 15.

⁴⁾ 22 ноября 1878 г.— Фет, „Мои Воспоминания“, II, стр. 358.

ему дорог. „Дорогой Иван Сергеич“—писал он ему (позволяю себе привести письмо полностью)—„Известия о вашей болезни, о которой мне рассказывал Григорович и про которую потом стали писать, ужасно огорчили меня. Когда я поверил, что это серьезная болезнь, я почувствовал как я вас люблю. Я почувствовал, что если вы умрете прежде меня мне будет очень больно. Последние газетные известия утешительны. Может быть еще и все это мнительность и вранье докторов и мы с вами опять увидимся в Ясной Поляне и в Спасском, дай Бог. В первую минуту, когда я поверил—надеюсь напрасно—что вы опасно больны, мне даже пришло в голову ехать в Париж, чтоб повидаться с вами. Напишите или велите написать мне определенно и подробно о вашей болезни. Я буду очень благодарен. Хочется знать верно. Обнимаю Вас—старый, милый и очень дорогой мне человек и друг. Ваш Толстой“.

Так чувствовал Толстой, который в продолжение многих лет неприязненно относился к Тургеневу. Можно понять чувства, которые охватили всю читающую, всю мыслящую Россию. Она теряла не только великого писателя, а нечто большее. „Мы ведь с вами немножко последние могикане“—писал еще в 1864 г. Тургенев Гончарову ¹⁾. Но он был не совсем прав. Истым последним могиканом был он один, ибо с полным правом последним представителем кружка Белинского был он. Гончарова, по общему складу его личности, нельзя отнести к этой группе.

Скончался друг „неистового Виссариона“, недаром пожелавший лежать подле него.

¹⁾ М. Суперанский, „И. А. Гончаров и новые материалы для его биографии“ („Вестник Европы“, 1908 г., № 12).

Значение этой смерти не только в утрате великого писателя, но и в потере последнего представителя великой эпохи, эпохи выработки лучших идеалов русской литературы.

Последняя нить, связывавшая с этой эпохой, оборвалась.

Скончался последний могикан.

Образовалась пустота. Заполнить ее нельзя — роль автора „Записок Охотника“ не повторится.

Л. Утевский.

Похороны Тургенева.

ВОСПОМИНАНИЯ.

В стенах Петербурга было несколько похорон, не официального, так сказать, предустановленного, характера, а таких, в которых непосредственно выразилось общественное сочувствие к почившему. Таковы были во второй половине прошлого века похороны глубоко талантливому артисту А. Е. Мартынову в 1860 году, Н. А. Некрасова в 1877 году, Ф. М. Достоевского в 1881 году и И. С. Тургенева в 1883 году. Похороны Достоевского были из них самые внушительные, потому что состоялись на третий день после кончины великого писателя, когда впечатление, произведенное ее совершенной неожиданностью, было особенно сильно, а грандиозно-трогательная обстановка похорон состоялась почти без всяких приготовлений. Но и похороны Тургенева оставили у всех очевидцев сильное впечатление, как наглядная дань уважения к любимому писателю и выражение скорби о нем. Этим похоронам предшествовали погребальные церемонии в Париже, отличавшиеся особой и искренней торжественностью. На станции Северной железной дороги была устроена траурная часовня (*chappelle ardente*), производившая, по отзывам очевидцев, величественное впечатление. Среди четырехсот собравшихся проститься с телом, было не менее ста французов и между ними носители славных и вы-

дающихся имен во французской литературе и искусстве. Тут были между прочими: Ренан, Эдмонд Абу, Жюль Симон, Эмиль Ожье, Зола, Додэ, Жюльетта Адан, любимец Петербурга артист Дьедонэ и композитор Масснэ.—Первым, с кафедры, обитой черным сукном, говорил Эрнест Ренан. В его красноречивой (несмотря на престарелость оратора) речи было несколько глубоких и прекрасных мест. Он характеризовал Тургенева как представителя массы народа, которая в целом безгласна и может только чувствовать, не умея ясно выразить свои мысли. Ей нужен истолкователь, нужен пророк, который говорил бы за нее, умел бы изобразить ее страдания, отвергаемые теми, кому выгодно их не замечать,—ее назревшие потребности, идущие в разрез с самодовольством меньшинства. Таким человеком по отношению к своему народу был в своих произведениях Тургенев, соединяя в себе впечатлительность женщины с нечувствительностью анатома и разочарованность мыслителя с нежностью ребенка. По своим чувствам, по характеру своего творчества Тургенев был сыном своего народа, того народа, появлению которого на авансцене мира Ренан придавал особое значение. Но над народами стоит человечество. По своему широкому мирозерцанию, кроткому, жизнерадостному, сострадательному, Тургенев принадлежал всему человечеству, и в нем жило слово мира, правды, любви и свободы. „Прости, великий и дорогой друг“, закончил свою речь Ренан, „лишь прах твой покидает нас, но твой духовный образ остается с нами“.—Ту же мысль об общечеловечности произведений Тургенева проводил в своей речи от имени французских литераторов Эдмонд Абу, подчеркнув в ней особое значение „Записок Охотника“ и сказав, что для славы умер-

шего не нужен будет величавый памятник, а несравненно дороже будет простой обрывок разорванной цепи на белой мраморной плите.

В Берлине,—быть-может, оттого, что прусские власти находились в натянутых отношениях с Россией, выразившихся в разных мерах Бисмарка, имевших характер маленьких репрессалий,—произошло странное недоразумение, про которое французы сказали-бы, что „с'est un incident soigneusement grégaré“. Быть-может, однако, и русские люди, хотевшие почтить Тургенева, оказались не осведомленными точно, по обычной нашей непредусмотрительности. Прибытие вагона с телом Тургенева ожидалось на Потсдамском вокзале, куда его неоднократно и приходили встречать с венками русские и немецкие почитатели усопшего, при чем на их вопросы станционное начальство отзывалось незнанием о времени прибытия, а некоторые даже высказывали предположение, что этот дорогой для многих прах уже проследовал в Россию. Между тем, тело прибыло на второстепенный Лертский вокзал и сдано было в экспедицию товаров большой скорости, а 24 сентября (11 сентября) утром перевезено на возу на вокзал Силезской железной дороги и оттуда отправлено в Россию.

Следование праха Тургенева по России очевидно очень тревожило министра внутренних дел—графа Д. А. Толстого и директора департамента полиции Плеве—и они принимали меры, чтобы свести к минимуму предполагаемые многочисленные встречи поезда с гробом на станциях железной дороги и устранить служение при этом панихид и литий. По этому поводу был оживленный обмен телеграмм с местными губернаторами, которым предлагалось „воздействовать“ на учре-

ждения и отдельных лиц, желавших почтить память покойного депутациями и надгробными словами. Ездивший в Вержболово, чтобы принять печальный и дорогой груз, М. М. Стасюлевич, — в журнале которого („Вестник Европы“) Тургенев печатал все свои главные произведения после „Отцов и детей“, — в письмах жене и в рассказах близким, выражал негодование на мытарства, испытанные им по пути в Петербург, когда в виду разных препятствий и усиленной торопливости станционного начальства, можно было, по его словам, подумать, что он везет не тело великого писателя, — а Соловья-Разбойника. Ему приходилось вести настоящую борьбу, чтобы воспрепятствовать в Вержболове переносу ящика с гробом на три дня в сарай, как простую кладь и — за недопущением панихид — торопиться с краткими литиями, рискуя не раз остаться на станции, едва успев запереть траурный вагон и вскакивая в поезд на ходу. Тем не менее, почти всюду при остановках на пути ожидали многочисленные поклонники усопшего с венками. На одной из станций публика, желавшая проникнуть в вагон для прощания, так теснилась, а времени было так мало, что Стасюлевич просил дать ему кого-нибудь из детей, чтобы ребенок простился за всех. Это трогательное предложение было исполнено.

В Петербурге были сделаны многие распоряжения со стороны высшей администрации и градоначальника, вызвавшие раболепные похвалы в некоторых газетах, — распоряжения, в которых, за мерами для соблюдения уличного порядка, чувствовалось ожидание каких-то беспорядков с политической окраской. Были мобилизованы большие отряды явных и тайных агентов для участия в процессии, и назначен усиленный наряд полиции на

кладбище, на которое с утра погребения уже никто не допускался,—и заготовлен „на случай потребности“ полицейский резерв. На могиле были допущены лишь те речи, которые предварительно „будут заявлены“ градоначальнику. Последний, в лице Грессера, пропустил мимо себя всю процессию, сидя с решительным и властным видом на коне, на пересечении Загородного переулка и Гороховой ул., а затем проехал на кладбище, где оставался до самого конца, предложив затем публике расхотиться. Еще ранее он, очевидно вовсе не разделяя взглядов Эдмонда Абу на роль и значение творца „Записок Охотника“ в великом деле освобождения крестьян, распорядился снять с венка, привезенного князем Бебутовым от тифлисской городской думы, укрепленный на нем обрывок цепи, а самого Бебутова выслать из Петербурга. Несмотря на все это, прием гроба в Петербурге и следование его на Волково кладбище представляли необычные зрелища по своей красоте, величавому характеру и полнейшему, добровольному и единодушному соблюдению порядка. Непрерывная цепь 176-ти депутатов от литературы, от газет и журналов, ученых, просветительных и художественных обществ и учреждений, от учебных заведений, от земств, сибиряков, поляков и болгар, заняла пространство в несколько верст, привлекая сочувственное и нередко растроганное внимание громадной публики, запрудившей троттуары,—несомыми депутациями, изящными, великолепными венками и хоругвями с многозначительными надписями. Так, был венок „Автору «Муму»“ от Общества покровительства животным; венок с повторением слов, сказанных больным Тургеневым художнику Боголюбову: „Живите и любите людей, как я их любил“, от То-

варищества передвижных выставок; венки с надписью „Любовь сильнее смерти“ от Педагогических женских курсов. Особенно выделялся венок с надписью „Незабвенному учителю правды и нравственной красоты“ от петербургского Юридического Общества... Депутация от драматических курсов любителей сценического искусства принесла огромную лиру из свежих цветов с порванными серебряными струнами. С этим венком были связаны следующие оригинальные стихи Коровякова, в которых были названы главнейшие произведения Тургенева в связи с его кончиной и погребением: „Стучит земля о крышку гробовую, — И дым кадил восходит к небесам, — Покинул нас певец, печать немую — Рок приложил к пророческим устам. — Довольно ты страдал, и тьма могилы — Затишьем сладостным явилась тебе, — Покинул нас певец, и творческие силы — На веки скованы в глубоком сне. — Ты накануне часа рокового — На родину рвался ей верною душой. — И лес, и степь, красы села родного, — Как призраки, маня, носились над тобой, — Но пробил час, горячее желанье — Унес ты в хладный гроб с собой, — И вот теперь последнее свиданье — Нам только смерть устроила с тобой. — Прими-жь цветы, что шлют Руси поля! — Их Бежин луг взростил, их Новь вскормила! — Их дети и отцы, вся родина твоя, — Как вешнею водой, слезами оросила“. Яркий, тихий, солнечный день, какие иногда бывают в Петербурге в половине сентября, придавал особую внушительную красоту всей картине.

На могиле, к которой гроб был пронесен между выстроившимися шпалерами держателями хоругвий и венков, были произнесены, по заранее составленному расписанию, три речи. Я слышал их, хотя

первая была произнесена очень слабым голосом. Ректор университета, А. М. Бекетов, указывая на свет, доходящий до нас от отдаленных звезд через тысячи лет, быть-может, давно уже переставших существовать, отметил, что эти светила нельзя назвать погибшими, потому что, хотя материя их и распалась, но силы, оживлявшие их, продолжают действовать бесконечно, превращая воспринятый свет в новые силы. Это физическое представление о бессмертии должно быть распространено и на силы духовные, колеблющие миллионы сердец еще долго после распада заключавшей их в себе материальной оболочки. Вверенная Тургеневу частица божественного огня, освободившись от своих земных оков, вольными струями будет разливаться между людьми, содействуя мирному вершению наших судеб на пути к прогрессу. Речь была заключена обращением к памяти Тургенева: „Покойся в мире, и пусть твоя кончина побудит нас обратиться с новой силой к науке, перед которой ты так благоговел, к искусству, которому ты служил с таким самоотвержением, и пусть найдем мы в этом настоящее утешение в скорби, причиненной нам твоей утратой“.—Московский профессор С. А. Муромцев—впоследствии первый председатель Государственной Думы, — сказал прочувственное слово о связи Тургенева с московским университетом и о его неизменной верности убеждениям своей молодости, в чем содержался источник благотворного влияния великого художника в течение всей его жизни.—Д. В. Григорович, разделивший в старые годы с Тургеневым благородную задачу тронуть сердца читателей тяжелым положением русского крестьянина, подавленного крепостным правом, и подготовить падение последнего, указал

в своей речи на особое значение Тургенева, так высоко поднявшего звание русского литератора, и завещавшего ему правдиво и честно служить своему призванию. Григорович очень волновался, говоря свою речь, и в слезах окончил ее прощанием с дорогим, незабвенным другом, прощанием—до скорого свидания...

Весть о смерти Тургенева произвела сильное впечатление во всех просвещенных кругах русской земли, почувствовавших глубину утраты. Об этом свидетельствуют ряд состоявшихся постановлений отдельных обществ, городских дум, земских собраний и заявления разных лиц, появившиеся в газетах. Конечно, не обошлось без некоторых странностей. Так, гласный петербургской Городской Думы, торговец коровьим маслом Абатуров и его единомышленник Кульков резко выразились за отклонение всяких предложений о чествовании Тургенева, потому что „наше дело торговое, а он из писателей, ну и Бог с ним!“. Были и факты противоположного свойства. Особую оригинальность в этом отношении представляет присылка московским купцом Ситниковым в редакцию „Новостей“ для употребления при предстоящем отпевании Тургенева дорогого бархатного ковра, с объяснением, что хотя это должно бы быть делом родственников, но не родной-ли Тургенев всем, не воспитывал-ли он каждого из нас: „Все спешат“—говорилось в письме Ситникова—„почтить память покойного писателя. Но где-же купцы? Когда же их будет интересовать и трогать то, что интересует и трогает других? Когда они будут жить целой богатой, довольной семьей, а не в отдельных нравственно бедных лачугах? Желая почтить память покойного дорогого мне писателя, с произведениями

которого я не расставался со школьной скамьи, я буду счастлив, если будет принята посылаемая мною в память его жертва от трудов моих“. Это было как-бы ответом на заявления, подобные сделанному представителями „дела торгового“.

Горячо откликнулись на потерю Московское и Петербургское Юридические Общества. В первом из них, в особом заседании, посвященном памяти покойного, по выслушании блестящей речи В. М. Пржевальского, было постановлено отправить к похоронам усопшего особую депутацию для возложения венка. Весь правовой порядок человеческого общества, по словам Пржевальского, зиждется на двух, дорогих для каждого юриста, началах: свободе и справедливости, без осуществления которых невозможен никакой истинный прогресс. Им всю жизнь посвящал свои силы Тургенев, справедливо названный Белинским сыном нашего времени, носящим в груди своей все скорби и вопросы его. Напоминая Аннибаловскую клятву Тургенева на борьбу с крепостным правом, Пржевальский сказал, что она была выполнена с горячею верою убежденного человека, с тихою скорбью наиболеешего сердца и с дивным талантом великого художника. Указывая на эту общественную заслугу Тургенева, Пржевальский напоминал и другую, по отношению к русской женщине, „выкинутой из круга общественной деятельности, подавленной окружающей средой и ее предрассудками, ищущей выхода, томимой жаждою дела и осужденной на мучительное бездействие“. Тургенев представил высоко поэтические образцы того, чем может быть русская женщина.

Еще раньше, совет петербургского Юридического Общества выработал постановление, в кото-

ром было высказано, что в лице почившего великого писателя русское общество утратило человека, высокая деятельность которого неразрывно связана с пробуждением и развитием в обществе сознания необходимости прекращения крепостного права, темные стороны которого изображены незабвенными и высокохудожественными чертами в „Записках Охотника“. Глубокий знаток, поклонник и любитель родного языка, Тургенев, показал, до какой степени совершенства может быть он доведен, и раскрыл, с неподражаемым искусством, все его богатство и глубину. Служа русскому слову— он всю свою жизнь служил и делу нравственного развития и духовного совершенствования общества. Из живых образов, одушевлявших его произведения, всегда звучал голос любви к людям, к правде, к душевной красоте, всегда звучал призыв к самосовершенствованию и просвещению. Юридическое Общество даже и в кругу своей специальности не может не преклониться с уважением пред этими сторонами его деятельности. Судебная реформа, вызвавшая к жизни Юридическое Общество и придавшая особый смысл его существованию, была естественным, органическим последствием крестьянской реформы, не будучи ни мыслима, ни возможна до осуществления последней. Эта реформа, упразднив господство в суде бумаги, вызвала развитие живой речи, являющейся тем лучшим орудием отправления правосудия, чем яснее, образнее, точнее родной язык, которому так много послужил Тургенев. Судебная реформа потребовала усердных, развитых, гуманных деятелей, сознающих, что судьбою указаны им, в кругу их деятельности, нравственно-просветительные задачи. Нельзя, поэтому, не вспомнить с чув-

ством особой благодарности о поэте и гражданине, который умел ставить такие задачи и освещать их всеми лучами своего чудного таланта.

Нужно ли говорить, что ни „Московские Ведомости“, ни „Гражданин“, редактор которого, князь Мещерский, в год кончины Тургенева вошел в особую, своеобразную милость и силу,—не почтили ни одним словом его память, и венки их, конечно, блистали своим отсутствием на похоронах. У Каткова были старые счеты с Тургеневым, который перестал печатать свои произведения в „Русском Вестнике“ после того, как редактор вздумал исправлять по-своему „Отцов и детей“, и даже вычеркивать из них целые страницы. Еще при жизни Тургенева появилась в „Московских Ведомостях“ коварная и далеко не безопасная для Тургенева статья „иногородного обывателя“, обличавшая будто-бы его „кувыркание пред молодежью“, с намеками на его политическую неблагонадежность. Статья принадлежала ныне забытому писателю, легковесные романы которого очень ценились в светских гостиных. Когда на эту статью в „Московских Ведомостях“ появилось несколько сочувственных ей ссылок, Тургенев, в письме к Стасюлевичу от 2 января 1880 года, охарактеризовал ее автора как человека „от молодых ногтей заслужившего репутацию виртуоза в деле низкопоклонства и „кувырканья“ сперва добровольного и затем уже и невольного, как человека, которому ни терять, ни бояться нечего, так его имя стало нарицательным, и он не из числа тех, кого позволительно потребовать к ответу“... В том же 1880 году в Москве, будучи на обеде, данном Городским Обществом депутациям, прибывшим на открытие памятника Пушкину,—я видел, как Катков, после своей речи,

протянул бокал сидевшему против него Тургеневу, который наклонил голову и своего бокала ему не протянул, — а когда чрез несколько минут затем Катков повторил свое движение, Тургенев снова на него не ответил и покрыл свой бокал ладонью. Этого ему, очевидно, не простил Катков и устроил своеобразные по нем поминки, перепечатав пред похоронами в Петербурге из газеты „Justice“ появившееся за девятнадцать дней пред этим письмо политического эмигранта Лаврова о том, что Тургенев в течение трех лет снабжал его 500 франками на издание в Лондоне журнала революционного характера.

Катков не мог не знать, что в некоторых и весьма притом влиятельных кругах его „разоблачения“ бросят тень на дорогого писателя и заставят строго взглянуть на учиняемые чествования его памяти. Этого именно и желал, по объяснению Стасюлевича, Лавров, сказавший, что не находит возможным стесняться в выборе средств и считавший, со своей точки зрения, письмо в „Justice“ искусным маневром, вследствие которого последуют распоряжения, способные глубоко огорчить все образованное общество и в России, и в Европе.

Похороны Тургенева вызвали напечатание в газетах целого ряда стихов, посвященных его памяти. Наиболее удачными из них можно признать стихи покойного Андреевского с их трогательным концом: „Ты к нам желал на север дикий — Укрыться с юга на покой: — Сойди-же в грудь земли родной, — Наш вечно милый и великий! — Здесь тишина... здесь лучший друг — Здесь все товарищи вокруг... Сюда пришли, пришли без счета — Слагать венки на этот свод, — И чуть от церкви, с поворота, — К тебе завидят узкий ход — Какое нежное волнение — Не-

вольно каждый ощутит!... — И сколько раз благо-
словенье—Твою могилу осенит!“

На другой день после похорон в зале Городского Кредитного Общества состоялся вечер, посвященный литературным поминкам по Тургеневе. Пред собравшейся в большом числе публикой, среди которой было много дам, многие из которых пришли в траурных костюмах, сказал вступительное слово Стасюлевич, назвавший Тургенева великим человеком, в высоком и художественном значении этого слова. Особенное впечатление на этих поминках произвели талантливое чтение М. Г. Савиной отрывка из „Фауста“, В. Н. Давыдовым из „Певцов“, а также чтение Кавелиным „Довольно“, проникнутое глубоким чувством, которое сказалось волнением чтеца, мешавшим ему по временам продолжать свое чтение. Речь П. В. Анненкова, усмотревшего в Тургеневе, под внешней оболочкой добродушия, сильный характер и сильную волю, была очень бесцветна, а Григорович, читавший четыре „Стихотворения в прозе“, вероятно, излишне полагаясь на свою память, отдельные места этих перлов русского языка изложил своими словами.

Общество любителей российской словесности при московском университете тоже хотело почтить память Тургенева публичным заседанием. Газетное известие, что в нем предполагает произнести речь Л. Н. Толстой, всполошило Начальника Главного Управления по делам печати Θεоктистова, считавшего, что Толстой „человек сумасшедший, от которого всего можно ожидать“. По его почину, вследствие требования министра Толстого, московским генерал-губернатором „по соглашению“ (?) с председателем Общества, предположенное заседание было „вовсе устранено“ под вымышленным

предлогом неподготовленности речей желавшими участвовать в нем.

Молчание одного из старейших и самого видного из русских литературных обществ о смерти Тургенева вызвало в свое время негодующий отзыв П. Д. Боборыкина о постыдно-равнодушном отношении москвичей к этой утрате. Он, очевидно, не знал о подвиге Θεоктистова. Последний не ограничился этим. В Пушкинском Доме при Академии Наук хранятся воспоминания его о Тургеневе и главных членах его дружеского кружка. К характерным указаниям этих воспоминаний надо, однако, относиться весьма осторожно. Либерал начала шестидесятых годов, постепенно менявший окраску по мере развития своей служебной карьеры, Θεоктистов ко времени писания своих воспоминаний очевидно „сжег все то, чему поклонялся, — поклонился тому, что сжигал“ („Дворянское гнездо“). Поклонился он и Каткову позднейших годов, стал смотреть на многое его глазами и вторить его ядовитым инсинуациям на Тургенева, обвиняя последнего, без всяких фактических указаний, в стремлении поддержать свою литературную популярность поступлением „в хвост“ людей крайнего направления, которым он, в сущности, не сочувствовал. Повидимому, Θεоктистов был не прочь считать и Тургенева человеком, „от которого всего можно ожидать“. Остается лишь мысленно поблагодарить его за об'единение в своем, омраченном недоброжелательством, представлении великого писателя земли русской, И. Тургенева, переписка которых, на краю могилы последнего, так многозначительна и трогательна...

О смерти Тургенева Стасюлевич — гласный петербургской Городской Думы и председатель учи-

личной комиссии—сообщил в тот-же день по телеграфу городскому голове и на другой день в заседании Думы И. И. Глазунов, обратясь к собравшимся гласным, сказал им: „вчера, 23 августа, близ Парижа скончался один из самых выдающихся русских писателей И. С. Тургенев, в лице которого русское общество понесло невознаградимую утрату. Знаменитый автор „Записок Охотника“ окончательное образование получил в петербургском университете, и первые его произведения написаны в Петербурге. Незадолго до своей смерти он говорил посетившим его русским приятелям, что желал-бы возвратиться в Россию, а если этого не случится и ему пришлось-бы умереть на чужбине, то ему хотелось-бы, чтобы его прах был перевезен в Петербург и похоронен на Волковом кладбище. Поэтому жители Петербурга, которых мы — представители, должны, независимо от всей России, надлежащим образом почтить память покойного“. В благоговейном молчании все присутствующие встали со своих мест, а затем издатель-редактор „Русской Старины“ Михаил Иванович Семевский указал на громадное воспитательное значение сочинений Тургенева, на которых возросло два поколения русского общества, давших ряд самоотверженных тружеников, откликнувшихся на призыв к великим реформам шестидесятых годов и в особенности подготовивших, легший в их основание акт 19 февраля 1861 года.

Результатом этого заседания было постановление о принятии на счет города расходов в сумме 3.000 рублей по перевозению тела Тургенева от Вержболова в Петербург и по его погребению, с тем, что если от этой суммы образуется остаток, то присоединить его к сбору, который, по всему вероятно, будет делаться на устройство памятника;—об учреждении

стипендии в университете имени Тургенева и об открытии 2-х городских училищ в его память.

На это постановление Думы градоначальник Грессер, ссылаясь на 140 статью городского положения, принес уже после похорон Тургенева протест в особое присутствие по городским делам, находя, что постановление Думы об этом расходе в 3.000 рублей не имеет никакого отношения к пользам города и его обывателей. Особое присутствие по городским делам, составлявшее инстанцию для пересмотра постановлений Думы и относящихся до нее распоряжений градоначальника, было составлено весьма оригинально, как я уже подробно указывал на это в I томе моей книги „На жизненном пути“. В него входили два независимых по своему положению члена — представители земства и мирового института, затем городской голова, обыкновенно не согласный с протестом градоначальника на постановление Думы, составлявшееся под его председательством, и три представителя администрации: председатель присутствия — градоначальник, конечно, всегда согласный со своим собственным протестом, затем его помощник и председатель казенной палаты. Наконец, в состав присутствия входило лицо прокурорского надзора окружного суда, от голоса которого зависело в сущности и окончательное решение присутствия. Таким образом, почти по всем вопросам, возникавшим по делу, заранее, если только представитель прокуратуры не имел надлежащей широты взгляда и стойкости, было обеспечено большинство в пользу протеста. Так случилось и в данном случае. Меньшинство присутствия доказывало, что понятие о пользе города и его обывателей не должно суживаться до исключительно материальной пользы, что „не единым

хлебом жив будет человек“, имеющий, кроме тела, еще и душу, и что в жизни государства, города и каждого отдельного человека бывают моменты, когда необходимо удовлетворение чисто-духовной или душевной потребности. Они указывали, что пользе города, о которой говорится в статье 140 городского положения, не противоречат расходы, которые, не делая ущерба благосостоянию и благоустройству столицы, в то-же время показывают, что ее население живет одной жизнью со всем отечеством, не оставаясь глухим и равнодушным к народным нуждам и бедствиям, к радостям и торжествам и к полезным государственным и общественным деятелям. Но большинство — градоначальник Грессер, его помощник, управляющий казенной палатой и товарищ прокурора—решило отменить постановление Городской Думы.

Замечательно, что это решение состоялось, несмотря на приведенные меньшинством справки о том, что, начиная с 1861 года, Думой без всякого возражения и сопротивления со стороны административной власти пожертвованы 9.000 руб. на устройство православных храмов в западных губерниях; на войну с Турцией — миллион; на добровольный флот — сто тысяч; на пособие пострадавшим от пожара жителям Оренбурга — 10.000 руб.; пострадавшим от неурожая жителям Самарской губернии — 50 тысяч и на изготовление дипломов на звание почетного гражданина Петербурга Северо-американскому представителю Фоксу — 1.200 рублей, путешественнику Пржевальскому — 1.500 рублей и генерал-адъютанту Радецкому — 3.000 рублей и что в том-же 1883 году тем-же градоначальником Грессером Дума приглашена была произвести расход для чествования памяти поэта Жуковского. К этим

указаниям можно было-бы добавить не встретившие никаких возражений с точки зрения „пользы и нужд“ расходы города на прием „иностранных гостей“, на съезды статистический, медицинский и другие и на внушаемые самой администрацией расходы для иллюминации города в торжественные дни.

Решение особого Присутствия городом было обжаловано Сенату. Городское управление указывало, что принятие похорон Тургенева на счет города удовлетворяло духовную потребность городского населения, которое не могло не сознавать нравственного долга уважения к памяти великого писателя и глубокой признательности учителю, сеявшему слова правды и воспитавшему деятелей, трудами которых городское общество, как единица всего государства, воспользовалось к великому своему благу. Этой жалобой город вступил в область трудно-вообразимого канцелярского порядка обсуждения дел Сенатом старого устройства, не тронутого судебной реформой и просуществовавшего в ненормальных условиях деятельности до переворота 1917 года. В силу закона, недоверчиво построенного на чуждых потребностям жизни, чисто-формальных соображениях, для окончательного решения дел в департаментах Сената, за исключением кассационных, устроенных совершенно иначе, требовалось единогласие, или, по крайней мере, две трети голосов всех присутствующих. В противном случае обер-прокурор должен был давать согласительное предложение, но если и после выслушания такового не составилось большинства двух третей, то дело переходило в Общее собрание, и если в многолюдном его заседании снова не составилось двух третей или большинства, а также если с состоявшимся решением не согласен тот из мини-

стров, к ведомству которого относилось разбираемое дело, то оно поступало на рассмотрение консультации при министерстве юстиции. Мнение консультации докладывалось министру юстиции, и, руководясь им, он давал общему собранию согласительное предложение с целью получения большинства в две трети голосов. Когда же при новом слушании дела в Общем собрании такого большинства не состоялось, то дело слушалось в одном из департаментов Государственного Совета старого устройства и оттуда переходило в Общее собрание этого учреждения, разные мнения которого представлялись в особой мемории на высочайшее усмотрение и на окончательное решение по воле монарха. Результатом всех этих деловых мытарств была необыкновенная медлительность в движении подлежащих разрешению вопросов, которым приходилось протискиваться сквозь Кавдинское ущелье и выходить из него уже тогда, когда вопрос потерял всю остроту, а из решителей его иногда более половины переселились в лучший мир. Мне лично в качестве сенатора I Общего собрания приходилось участвовать в решении дел, тянувшихся двадцать, двадцать один, двадцать три и одно даже тридцать шесть лет.

В этом сложном механизме, как-будто предназначенном тормозить всякий жизненный вопрос, судьба жалобы городского управления по поводу похорон Тургенева была самая печальная. В первом департаменте, куда она поступила на рассмотрение таких широкомыслящих деятелей, как стойкий страж закона В. А. Арцимович, глубокий знаток городского хозяйства и преемник Николая Милютин по выработке городского положения 1870 года, А. Д. Шумахер и представитель истинного правосудия А. А. Са-

буров, состоялось решение, которым было признано, что градоначальник, не указывая, что постановление Думы противно закону или сделано в ущерб обязательных для города расходов, не имел повода приносить протест в Городское Присутствие, куда поступали лишь незаконные определения Городских Дум.

На это решение Министр Внутренних Дел, принопамятный граф Д. А. Толстой, принес отзыв, в котором, не останавливаясь на этот раз на вопросе, удобно - ли и допустимо - ли в общих правительственных видах, чтобы общественные управления являлись выразителями разнообразных чувств и желаний своих доверителей, предложил оставить жалобу без последствий. При этом он очевидно не обратил внимания на то, что министерство, во главе которого он стоял, по доходившим до него делам, считало расходование городских средств на содержание театров и музыкантов вполне законным, так как оно предназначено для развлечения публики в видах нравственных и даже политических. Арцимович, Сабуров и Шумахер остались при своем мнении, и Министр Юстиции поручил оберпрокурору перенести это дело в Общее Собрание. Это было 25 апреля 1884 года. В общем собрании сената к постановлению первого Департамента присоединился ряд лиц, в числе которых был бывший секретарь редакционного комитета по освобождению крестьян, ученый географ П. П. Семенов (впоследствии Тянь-Шаньский) и остроумный Барыков, лишенный впоследствии получаемой им аренды за то, что предлагал поместить в „Положение о земских начальниках“ статью „Окончание курса в университете не может служить препятствием к занятию должности земского начальника“. Группа в 13 человек признала жалобу заслуживающею ува-

жения, указав, между прочим, что расход в 3 тысячи на похороны Тургенева, по поводу которых поднято столько шуму, составляет лишь одну двухтысячную часть общего бюджета города, что очевидно не может иметь никакого влияния на задержки удовлетворения материальных его потребностей. 13 других лиц, найдя расход, произведенный Думой незаконным, оставляли жалобу без уважения, а 3 лица считали нужным, кроме того, раз'яснить Думе незаконность ее действий. Так как двух третей не состоялось, то Министр Юстиции Муравьев уже 5 февраля 1894 года, т. е. почти через 10 лет после постановления Думы, предложил Общему Собранию все дело прекратить, не входя в рассмотрение всех возбужденных по нему вопросов, так как с тех пор издано в 1892 году новое городовое положение. За этот период времени скончалось 13 сенаторов, заседавших в Общем Собрании, а из остальных 6 остались при прежнем мнении, вследствие чего это дело было перенесено в Государственный Совет, где слушалось в заседании Соединенных Департаментов 19 декабря 1894 года, т. е. более чем через 11 лет после смерти И. С. Тургенева, и где тоже не состоялось единогласия, так как один из членов Совета, особо рекомендованный вниманию власти издателем „Гражданина“ князем Мещерским, бывший черниговский губернатор Анастасьев, настойчивый ходатай об открытии мощей Θεодосия Черниговского и одновременно с этим отличавшийся крутыми расправами с крестьянами,—что подало повод пустым светским острякам уподоблять его шампанскому и называть его „Апастасиэфф сек“,—горячо ратовал за признание постановления Думы совершенно незаконным. Однако, 17 членов Соединенных Департаментов Совета, на-

ходя протест градоначальника принесенным несвоевременно, уже после того, как похороны Тургенева состоялись, постановили передать дело на уважение общего собрания Государственного Совета, где оно, наконец, и успокоилось в архивной пыли.

Не так медлили с устранением вредных примеров, вызванных похоронами И. С. Тургенева, граф Д. А. Толстой и православное ведомство, повидимому, усмотревшие в „преднесении“ пред гробом почивших общественных деятелей венков с эмблемами и надписями нечто, идущее в разрез с показным смирением и однообразным благолепием обычных похорон и поспешившие окончательным воспрещением такого преднесения. С тех пор живые и осмысленные группы почитателей умершего деятеля заменились дрогами с пирамидальным деревянным возвышением, на котором укрепляются без системы и последовательности принесенные венки.

„Мы ленивы и не любопытны“—сказал Пушкин. К этому с полным основанием можно бы прибавить „и не благодарны“. Издавна у нас „вчерашний день“ очень быстро заволакивается туманом и ничего не говорит забывчивому, одностороннему и ленивому мышлению, а день грядущий представляется лишь как повторение мелких и личных житейских приспособлений. Мы накаляемся иногда очень быстро и горячо, но очень скоро остываем, и нередко имя того, по поводу смерти которого раздавались безнадежные укоры безжалостной судьбе, причинившей „невознаградимую утрату“, вызывает недоумевающий или вопросительный взгляд. Достаточно сказать, что у нас до сих пор

нет биографий целого ряда замечательных деятелей во всех областях общественной жизни, и что лучшая по богатству содержания книга о таком выдающемся писателе, как И. А. Гончаров, созданный в Обломове бессмертный на ряду с гоголевским Чичиковым тип русского человека, написана иностранцем Мазоном по-французски.

Говоря о Тургеневе, столь громко оплаканном в 1883 году, невольно хочется спросить—а где-же памятник ему? Тот памятник, на постановку которого „по всем вероятиям“ цетербургская Дума ассигновала остатки от расхода на погребение? Его нет, но за то в одном из больших губернских городов, по сообщению газет, которому просто не хочется верить, улица, известная местным жителям как главный приют домов терпимости, была названа Тургеневской... Сельская школа, основанная в Спаском-Лутовинове Тургеневым и содержавшаяся им с заботливой любовью, была упразднена чрез год после его смерти и лишь чрез десять лет затем заменена церковно-приходской школой, в библиотеке которой, к изумлению сотрудника „Русских Ведомостей“, не оказалось сочинений Ивана Сергеевича, а портрет его с украшениями с похоронного венка бесследно исчез из студенческой столовой петербургского университета, закрытой в 1887 году.

Действительное и серьезное любопытство, о котором говорит Пушкин, конечно, выражается в интересе к прошлой деятельности выдающегося человека, к ее влиянию на общество в смысле его развития, к оценке идеалов и образов, начертанных в произведениях писателя и к вытекающим из этой оценки выводам. Но великий наш поэт был далек от того, чтобы упрекать нас в отсутствии ме-

лочного, низменного и пошлого любопытства, которое жадно стремится „расковыривать“ частную жизнь человека, послужившего обществу, и находя в ней, по большей части, недостоверные теневые стороны, захлебываясь от рабского восторга, отмечает: „а ведь вот что он был“, „вот какие вещи о нем сообщают“, „вот какие свойства в нем оказались...“ Говоря о любителях шекотливых разоблачений относительно выдающихся людей, в сознании собственного ничтожества радующихся унижению высокого и слабостям могучего, потому что он „мал и мерзок, как мы“ — Пушкин восклицает: „врете! подлецы, он и мал, и мерзок, но не так, как вы — иначе“! То же самое говорит и Маколей, характеризуя людей, копавшихся в семейной жизни Байрона и испытывавших особое наслаждение от возможности „стащить человека с высокого пьедестала в свою собственную грязь“.

Таким образом для выдающегося общественного, научного или литературного деятеля создается особая „privilegium odiosum“. Простому смертному, по отношению к его частной жизни не грозят обыкновенно никакие заглядывания и розыски с целью его публичного посрамления. Но тот, кто отдал лучшие и нередко страдальческие стороны своей жизни служению обществу, а иногда и всему человечеству, обрекается на злорадное разглядывание интимнейших сторон его жизни с целью их оглашения. Такому огласителю, забывающему, *что и как* сделал умерший деятель на общую пользу или развитие, хочется сказать словами Боровиковского (на смерть Некрасова) „ты разглядел на солнце пятна—и проглядел его лучи“! Несомненно, что личность выдающегося деятеля может интересоваться, но из нее должно брать те стороны, кото-

рые отразились на его трудах, вдохновении, учебных работах или были их движущими побуждениями. Достаточно в этом отношении указать хотя бы на воспоминания Эккермана о Гете, Босвелля о Джонстоне.

К сожалению, у нас любопытство совсем другого качества развито довольно сильно. Стоит припомнить злостно-поспешные „разоблачения“ относительно Некрасова, появившиеся почти вслед за его страдальческой кончиной, или злобные и недостоверные,— по самой своей подозрительной по простетии многих лет точности в подробностях,—воспоминания г-жи Головачевой-Панаевой о Тургеневе и его друзьях или, уже не помню чьи, „раскопки“ относительно посещения юным Добролюбовым какого-то дома терпимости... или постыдные, по отзыву иностранной печати, воспоминания дочери Достоевского об интимных подробностях жизни ее отца.

Любопытство этого рода не миновало своим милостивым вниманием и Тургенева, вопреки его мнению, что „смерть имеет очищающую и примиряющую силу: клевета и зависть, вражда и недоразумения все смолкает перед самою обыкновенною могилой“.

Зависть, вражда и недоразумения при жизни были ему отпущены „мерюю полною, утрясенною“, как говорится в Писании. Достаточно указать хотя бы на обвинения его в „клевете на молодое поколение“ после появления „Отцов и детей“, или на статью „Асмодей нашего времени“, в которой г. Антонович сравнивал Тургенева с кликушествующим ретроградом Аскоченским, возбуждая против него общественное мнение, как возбуждал последнее чрез несколько лет против Некрасова, ре-

дактора „Современника“, на страницах которого прежде подвизался против разошедшегося с Некрасовым Тургенева.

Нужно-ли говорить о дышащем ненавистью изображении Тургенева в „Бесах“ под именем писателя Кармазинова, изображении, составляющем темную и печальную страницу в творчестве Достоевского, нашедшую себе ласковый приют у Каткова, не стеснившегося, однако, выкинуть целую потрясающую по своей силе главу из того-же романа.

Но все это было при жизни Тургенева, и он имел возможность относиться к таким выходкам с презрением или во временном унынии решаться бросить перо и сказать себе: „довольно!“ или выступить в самозащиту, или, наконец, не обращать на все это внимания, уповая на очищающую и примиряющую силу смерти.

Вскоре после смерти Тургенева „Новое Время“, еще недавно присоединившееся к проявлениям уважения и любви к покойному, нашло возможным поместить в четырех своих номерах воспоминания о нем А. А. Веницкой. Эти воспоминания, имеющие характер проникнутого злобным раздражением доклада сыского агента, страдающего неврастенией, начинаются выражением желания „подогреть остывающий энтузиазм сторонников незыблительной репутации“ Тургенева и затем представляют его в самом отталкивающем виде как в повадке, так и с нравственной стороны, эксплуатирующим время и доверие молодой писательницы. Затем стали появляться по временам отрывочные воспоминания друзей, ставивших Тургеневу „всякое лыко в строку“ и умышленно вменявших ему в вину свойственную ему неспособность или деликатное нежелание говорить людям в глаза обидные для них резкости.

Тургенев часто не щадил себя в своих беседах, забывая старое правило житейской мудрости: „не говори худо о себе, твои „друзья“ об этом позаботятся“ и испанскую поговорку „избави меня Бог от друзей, а с врагами я сам справлюсь“.

Он бывал резок в отзывах о людях и о произведениях их, недостатки которых, иногда под первым впечатлением, бросались ему в глаза, — но эта резкость проявлялась лишь в беседах с друзьями и близкими и никогда не выносилась на печатные страницы с молчаливым злорадным предложением: „полюбуйтесь“!

На этом материале при лицемерном расшаркивании пред талантом Тургенева, как на благодарной почве, посеяны и взрощены отзывы, напоминающие слова: „я правду (?) о тебе порасскажу такую, что будет хуже всякой лжи“. Пальма первенства в этой „дружеской работе“, без сомнения, принадлежит Фету. Крепостник и порицатель „великих реформ“ и „слабости цензуры“, удивительным образом соединявший в себе философские знания и понимание и чудный поэтический дар со строевыми идеалами кавалерийского штаб-ротмистра и страстным вождением променять известное имя Фета на ничего не говорящее имя Шеншина, с получением в добавок к последнему камергерского ключа—Фет издал в 1890 году в двух томах свои воспоминания, всемерно омрачающие память „своего друга“, как человека, с которым он, однако, находился в частой переписке и с которым, несмотря на некоторые размолвки, „примирился(?)“ незадолго до его смерти.

Воспоминания Фета и Панаевой-Головачевой составили главнейший арсенал для изображения Тургенева, через 25 лет по его смерти, в самом непривлекательном виде в особом „Опыте историко-

психологического исследования“, в котором собраны, без критики источников, все недоброжелательные отзывы о нем. В них, рядом с вспышками раздражения на то, что он „виляет демократическими ляжками“ и что у него „нет спинного хребта“, ему, повидимому, ставится в укор и то, что он был чрезвычайно чистоплотен, менял два раза в день белье и ежедневно фуфайку, подолгу причесывался, вытирался губкой с одеколоном, садясь писать, приводил в порядок все бумаги на столе и „точно нянька“ прибирал разбросанные вещи гостей у него детей, и, наконец, даже то, что слуга его не топил комнат и воровал чай. К этим печальным свойствам присоединилось его болезненное самомнение, выражавшееся в желании лечь у ног Пушкина, по своеобразной логике „историко-психолога“ доказывающее, что „преисполненный ложной скромности“ Тургенев ставил себя наравне с Пушкиным, считая себя одного достойным лечь с ним рядом. Стоит прочесть внимательно все произведения Тургенева, — припомнить его выступления на московских пушкинских торжествах в 1880 году или прислушаться к отголоскам его горячих споров в литературных кружках о значении Пушкина, чтобы видеть, как недосыгаемо высоко ставил он последнего, и как далек он был от мысли равнять себя с ним. В его желании выражалось лишь восторженное отношение к великому поэту, которому он стольким, по собственному признанию, был обязан в развитии своего творчества и своих общественных взглядов. Такое-же отношение к Пушкину было и у другого выдающегося русского писателя—И. А. Гончарова, говорившего, что при известии о его смерти он „плакал как о смерти любимой женщины,—нет, это неверно,—о смерти матери,—да,

матери"!—Да и давно ли на нашем точном и образном языке выражение „лечь у ног“ считается однозначущим с „лечь рядом“?

Так продолжались моральные похороны Тургенева многие годы после его смерти. Хочется надеяться, что теперь они окончены, и что краски, наложенные этим надгробным красноречием на личность человека, так много давшего людям и на своей родине и за ее рубежом, „спадут ветхой чешуей“. Хочется думать, что Тургеневское Общество не пойдет этим путем и своими работами углубит и расширит понимание и изучение творений Тургенева в их отношении к разнообразным сторонам жизни...

А. Ф. Кони.

Тургенев и Жорж Санд¹⁾.

Одним из интереснейших вопросов в истории литературы является взаимодействие литератур, т. е. влияние литературы одной нации на литературу другой или, в частности, писателей одного народа на писателей другого. Иногда это влияние сказывается в виде определенной школы или литературной манеры, сознательно или бессознательно заимствованной группой писателей или единичными литераторами у какого-нибудь гениального или крупного поэта или прозаика из другой страны. Иногда—и это важнее и ценнее—как восприятие одними писателями идей других, проникновение этими идеями и более или менее непосредственная передача их в сыром виде или, наоборот, в виде переваренном, усвоение до степени, обращающей эти идеи уже в собственность проникнутого ими писателя, в его собственные идеи, стремления и теории. Примером первого из указанных случаев является влияние Байрона, или влияние Гюго и его школы на целый ряд поэтов во всех европейских странах первой половины 19 века, или, в наши дни, влияние Достоевского на задачи, приемы и манеру

¹⁾ Доклад, прочитанный в Тургеневском Обществе 1 июля 1920 г.

многих французских и итальянских романистов. С другой стороны, именно в истории русской литературы и в истории развития русского общества и русской интеллигенции можно указать массу примеров идейного воздействия западных писателей на русских.

Как-раз только-что упомянутый мною Достоевский в своей статье о Жорж Санд говорил: „У нас, русских, две родины: наша Русь и Европа... Много, очень многое из того, что мы взяли из Европы и пересадили к себе, мы не скопировали только... а привили к нашему организму, в нашу плоть и кровь, иное же пережили и выстрадали самостоятельно, точь-в-точь как те, там на Западе, для которых все это было свое, родное... Это можно выследить отчасти и на отношении нашем к литературе других народов. Их поэты нам так же родные, как и они там у себя—на Западе. Я утверждаю и повторяю, что всякий европейский поэт, мыслитель, философ, кроме земли своей, из всего мира наиболее и наироднее бывает понят и принят всегда в России... Это русское отношение ко всемирной литературе есть явление, почти не повторяющееся в других народах и в такой степени во всю всемирную историю..., всякий поэт—новатор Европы, всякий пришедший там с новою мыслью и новою силой, не может миновать русской мысли, не стать почти русской силой...“ „В свое время Жорж Санд, о которой могут быть споры и которую наполовину, если не на все девять десятых, успели уже забыть, свое дело все-таки у нас сделала“.

В объяснение этих слов скажем, что Достоевский в начале своей статьи говорит, что во времена самой черной реакции и цензурных строгостей, через по-

средство романов—и в особенности именно Жорж Санд—к нам проникли идеи, волновавшие Францию в 30-е и 40-е годы, и что потому „Жорж Санд—это одно из тех имен нашего могучего, самонадеянного и в то же время больного столетия, полного самых неразрешимых желаний, которые, возникнув там у себя, „в стране святых чудес“, переманили от нас, из нашей вечно создающейся России, слишком много дум, любви, святой и благородной силы порыва, живой жизни и дорогих убеждений. Но не жаловаться нам надо на это: вознося такие имена и преклоняясь перед ними, русские служили и служат своему прямому назначению...“

Все, что сказал в приведенных мною разрозненных, но, быть-может, слишком все-таки длинных цитатах Достоевский, могли сказать, да и сказали, лишь другими словами, и другие наши великие писатели. Нет никакого сомнения, что сельские романы и рассказы Григоровича и Тургенева, сыгравшие такую великую роль в истории освобождения крестьян (не говоря уже о других важных общественных вопросах), — обязаны своим происхождением влиянию Жорж Санд. Григорович говорит об этом и в своих „Воспоминаниях“, да и лично мне не раз говорил о том. И на большинство писателей и читателей 40-х и 50-х годов Жорж Санд имела громадное идейное и моральное влияние. О нем и Салтыков, и Дружинин, и Герцен, и Хомяков, и Аксаков, и Белинский, и Аполлон Григорьев, и Гончаров, западники и славянофилы, общественники и индивидуалисты, — говорят то в своих воспоминаниях и статьях, то в письмах, то устно высказывали, если не нам лично, то нашим друзьям из стариков предшествовавшего поколения. Здесь я на этом остано-

вливаться не буду, так как достаточно много сказано по этому поводу во вступительной главе моей книги о Жорж Санд, и если упоминаю об этом, приведу теперь частично слова Достоевского, приводимые там целиком, то лишь потому, что никто не обязан помнить мою книгу.

На Тургеневе влияние Жорж Санд сказалось двойко: и в виде идейного воздействия, и в виде непосредственного отражения формы и содержания жорж-сандовских вещей на некоторые из его произведений. Тургенев много раз и на разные лады говорил это и лично ей, и, по поводу нея, другим. Поэтому мне хочется восстановить в вашей памяти, во-первых, отражение этого влияния на разных тургеневских вещах, привести его мнения о Жорж Санд, а, во-вторых, рассказать историю их знакомства и дружбы.

Из биографии Тургенева известна такая подробность, что в краткий период его казенной службы, он был, как говорит его биограф, „плохим и неисправным чиновником, службою вовсе не занимался, а обыкновенно проводил время за чтением романов, исключительно французских (Жорж Санд), которые тут же в канцелярии на столе у него и валялись“...

Интересно отметить также, что лет за шесть до поступления его на службу, еще до его первой поездки за границу, в бытность студентом СПб. университета, он написал в подражание байроновскому „Манфреду“ фантастическую драму пятистопным ямбом, обратившую на молодого студента внимание П. А. Плетнева, который посоветовал ему серьезно заняться литературой. Драма эта называлась именем героя из жорж-сандовской „Лелии“ — „Стенио“.

Но вот прошло со времени этого „Стенио“ около пятнадцати лет, появились „Записки Охотника“, и два из этих рассказов носят уже несомненное отражение увлечения „плохого чиновника“ романами Жорж Санд. Об одном из них и мне лично пришлось уже не раз говорить в печати, говорили и другие, напр., проф. Сумцов, г. Гальперин-Каминский (по поводу моей книги) и т. д. Это „К а с ь я н с К р а с и в о й М е ч и“, который является отголоском, почти повторением типа Пасьянса из романа „М о п р а“, да, Пасьянса, этого доморощенного натур-философа, вольнолюбивого и вольнодумца—и в то же время глубоко верующего, не признающего никаких стеснений, живущего одной жизнью с природой, поклоняющегося ей и всем живым тварям, растениям и животным, приходящего в бешенство, когда маленький Бернар Мопра убивает при нем птицу. То же самое и Касьян. И даже в наружности Касьяна много общего с Пасьянсом: Пасьянс хотя и обладает геркулесовской силой, но мал ростом, приземист; Касьян тоже приземист и прямо—таки почти карлик; у обоих острые пронизательные глаза глядят из-под косматых бровей; чертами лица и тот, и другой похожи на Сократа, только Пасьянс, как Сократ, и лысый, а у Касьяна—шапка спутанных волос. Пасьянс не любит работать, живет отшельником, знает силу целебных трав, слышет за колдуна, и местные крестьяне боятся его; точно также и Касьяна зовут „лекаркой“ и колдуном. Пасьянс, выучившись грамоте, ищет во всем правды и справедливости, поклоняется разуму и учености, любит поучать других, произнося подчас весьма туманные и малопонятные речи. И Касьян иногда произносит такие же плохо-формулированные, отвлеченные суждения, не умея

выразить своей гуманно-пантеистической философией; он тяготеет к просвещению, к учености и старается свою воспитанницу Аннушку выучить грамоте, а эту Аннушку он так же нежно любит, как Пасьянс, барышню Эдме, к которой питает отечески-восторженную любовь. Словом, Касьян удивительно смахивает и по всему складу своей натуры и ума, и даже в отдельных чертах и мелких штрихах, которыми рисует его автор, на свой французский прототип.

А вот и другой рассказ из „Записок Охотника“, на котором тоже отразилось, если не в действующих лицах, то в общем настроении и сюжете влияние жорж-сандовских произведений. Это — появившийся в том же году, что и Касьян, — в 1851 — „Бежин Луг“. Всякий русский читатель, конечно, помнит хорошо, что главное содержание его составляют народные поверья, с трепетным любопытством и страхом передаваемые и выслушиваемые шестью стерегущими табун мальчиками, ночью, вокруг костра: тут на сцену являются и леший, и домовый, и русалки, и оборотни, и сам страшный, таинственный Тришка. А Жорж Санд уже и в „Жанне“ (1884), и в „Чортовой Луже“ (1846), в „Муни Робене“, и в „Маленькой Фадетте“, и в предисловиях и послесловиях к своим очаровательным сельским повестям говорила не раз о *follets*, т. е. блуждающих огоньках или гномах, принимающих вид огоньков; о страшных „полоскушках“, по ночам полошущих в прудах и ручьях трупы некрещенных младенцев; о таинственных кладках; о камнях, их стерегущих, но в ночь на Рождество сходящих с места; о Чортовой Луже, вокруг которой заблудившийся путник блуждает до рассвета, если не сотворит во-время мо-

литвы; о всевозможных таинственных травах и заклинаниях, чарах и тайнах, которыми владеют колдуны, в роде матери Жанны или бабушки маленькой Фадетты; по милости этих тайн (le secret) они могут найти золотой клад, но могут накликают и беду на крещенных (как говорится и теперь у нас в деревнях, и как говорилось в Берри при Жорж Санд), могут низвести молнию. А в 1851 г. Жорж Санд посвящает целый отдельный очерк этим „Ночным Видениям в деревне“¹⁾, где пересказывает то от своего имени, то от имени разных беррийских мужиков или мелкопоместных дворянчиков поверья своего родного Берри. И на сцене тоже оборотни, „полоскушки“, блуждающие огоньки, домовые, la grand'bête — нечто в роде нашей „степной кикиморы“, у которой, как известно, и ноги, и голова, и туловище, и хвост составлены из частей тела самых разнообразных зверей; наконец, и страшный, таинственный Жоржон, как Тришка, приходящий по человеческие души в ночь на Рождество. И как у Тургенева барашек-оборотень смеется над Ермилой—псарем, так у Жорж Санд заяц-оборотень смеется над фермером, а быки и осел пророчествуют на человеческом языке о смерти хозяина и т. д. Заимствованием этого, конечно, назвать нельзя, да его и не было (тем более, что „Ночные Видения“ появились одновременно или даже месяцем позже); трудно передать, в чем именно сходство обоих произведений, но если прочесть их одно за другим, впечатление схожести, одинаковости настроения и манеры передачи бросаются в глаза.

¹⁾ „Visions de Nuit à la Campagne“.

Говорилось много раз, в том числе и мною, о сходстве между тургеневским Рудиным и жоржсандовским Орасом. Это та же натура, тот же тип увлекающегося словами и увлекающего ими других себялюбивого говоруна, пасующего перед простыми сердцами, безхитростными, но способными на самозабвение и самопожертвование людьми. Рудин, как славянин, конечно, мягче, симпатичнее Ораса и, в конце концов, даже умирает на баррикадах за свободу чужого народа в 1848 г., тогда как Орас благоразумно избегает опасности быть подстреленным на баррикаде улицы Сен-Мерри в 1832 г., но, тем не менее, это одного поля ягоды. Указывалось и на то, что и другие действующие лица этих двух романов, при всех характерных различиях, собственных представителям двух рас, похожи одни на других: Ласунская (списанная, как говорят, со Смирновой-Россет)—на виконтессу де Шальи (хотя эта последняя списана с графини д'Агу), Наташа—на Марту, Воынцев—на Поля Арсения, Лежнев—на Теофиля. Но главное, опять-таки, не в этих отдельных сходствах действующих лиц, а в общем ходе рассказа и в отношении обоих авторов к своему герою: развенчание человека слова перед людьми простого сердца, горячего чувства, честного, хотя и скромного дела. Это любимая тема Жорж Санд: противопоставление двух типов: типа, который Аполлон Григорьев называет типом хищным, и типа смиренного, по его номенклатуре, т. е. людей, поглощенных своею личностью, умственных, рефлектирующих, эгоистов или половинчатых, холодных или слабовольных, неспособных предаться одной идее, одному горячему чувству, людей ума, оказывающихся несостоятельными перед людьми воли и сердца. Эта идея проходит, что называется,

красною нитью через все почти романы Жорж Санд, от „Индианы“ и до „Вальведра“ или прелестной „Марианны Шеврез“, которой так восхищался Флобер, — и она же является господствующей в произведениях Тургенева, от „Свидания“ в „Записках Охотника“ и „Аси“ до „Клары Милич“, не говоря уже о „Вешних Водах“ или „Якове Пасынкове“, и проводится Тургеневым то прямо, то, как говорится, „доказательством от противного“.

Или вот, например, „Хорь и Калиныч“: ни сюжет, ни фигуры двух этих типических русских мужиков не напоминают, кажется, ни одного из деревенских героев Жорж Санд. Но описания природы, передача тончайших настроений, овладевающих человеком в лесу, когда он, лежа на спине, смотрит сквозь сетку листвы на высокое небо (всякий из вас, конечно, помнит эту страницу в начале „Хоря и Калиныча“), упоминания о всевозможных полевых цветах и травах, которые так часто встречаются у Жорж Санд, а до Тургенева (кроме Аксакова) не встречались ни у одного из русских писателей, — все это чрезвычайно напоминает, вернее, навеивает какое-то смутное воспоминание о читанных где-то у Жорж Санд страницах. А что такими именно страницами Тургенев особенно восторгался, явствует из того, как он был восхищен описанием осеннего вечера в „Вступлении“ к „Франсуа-Найденышу“. Описание это действительно истинный *chef d'œuvre*. Позвольте его привести, а также и относящиеся до него несколько строк из моей книги о Жорж Санд:

„Мы возвращались с прогулки (Роллина и я) — говорит Жорж Санд в этом „Вступлении“ — при лунном свете, который слабо серебрил тропинку

среди потемневших полей. Это был осенний вечер, теплый и подернутый дымкой; мы заметили, как звучен воздух в это время года, и какая таинственность царствует в природе. Кажется, будто при приближении тяжелого зимнего сна все существа и вещества стараются потихоньку наслаждаться остатками жизни и жизненности пред роковым оцепенением мороза и, словно они хотели бы обмануть ход времени, словно они боятся, что их застигнут или прервут в их последнем празднестве, все эти существа и вещества в природе отдаются, бесшумно и стараясь быть незаметными, своим ночным наслаждениям. Птицы испускают лишь заглушенные крики вместо радостных летних призывов. Какая-нибудь букашка в борозде нивы вдруг нескромно воскликнет, но тотчас же она прерывает самое себя и поспешно уносит свою песнь или жалобы к другому сборищу. Растения спешат выдохнуть свой последний аромат, который тем слаще, чем он тоньше и точно сдержаннее. Желтеющие листья не смеют дрожать при дыхании ветерка, и стада пасутся молчаливо, без криков любви или битвы. И мы сами, друг мой и я, мы шли с какой-то предосторожностью и от инстинктивного благоговения мы были немы и словно прислушивались к смягченной красоте природы, к очаровательной гармонии ее последних аккордов, которые умирали в неуловимых пианиссимо. Осень — это меланхоличное и милое *andante*, которое превосходно подготавливает к торжественному *adagio* зимы“.

А вот что об этом „Вступлении“ говорит Тургенев в письме к Полине Виардо, вошедшем не в собрание писем, напечатанных г. Гальпериным-Каминским, а в томик, появившийся в Москве по-русски в 1900 г. под немножко безграмотным

заглавием: „Письма И. С. Тургенева к Паулине Виардо“.

„В самом начале предисловия, пишет Тургенев, есть описание осеннего дня всего в несколько строк... Это чудесно. У этой женщины есть талант передавать самые тонкие, самые мимолетные впечатления твердо, ясно, понятно; она умеет рисовать даже благоухание, даже мельчайшие звуки. Я плохо выражаюсь, но вы меня понимаете. Описание, о котором я говорю, заставило меня подумать об обсаженной тополями дороге, которая вдоль парка ведет в Жаризель, я снова вижу золотистую листву на светлоголубом небе, пунцовые плоды шиповника в изгороди, стадо овец, пастуха с его собакой и множество еще других вещей“...

Вот что поистине может называться заразной силой искусства! Художественная картина Жорж Санд, как сильный музыкальный тон, заставила задрожать родственную ноту в душе другого художника слова, из-под пера его явился этот прелестный акварельный набросок.

Если перечитать Тургенева, то таких отзвуков, отголосков, реминисценций жорж-сандовских страниц найдется не мало. И, повторяем, Тургенев это сам признавал. Он говорил о „восторженном удивлении, которое она возбуждала в нем“ в дни молодости, о том, что он „поклонялся ей“. В 1872 г., вернувшись из Ногана, имения Жорж Санд, он писал ей в письме, которое мы еще приведем целиком: „Отправляясь в Ноган, я порешил сам с собой рассказать вам о громадном влиянии, которое вы оказали на меня как на писателя“. А за восемнадцать лет перед тем он писал Дружинину: „Вы говорите, что я не мог остановиться на Жорж Санд, разумеется, я не мог оста-

новиться на ней так же, как, например, на Шиллере. Но вот какая разница между нами: для вас это направление — заблуждение, которое следует искоренить, для меня оно — неполная истина, которая всегда найдет (и должна найти) последователей в том возрасте человеческой жизни, когда полная истина еще недоступна. Вы думаете, что пора уже возводить стены здания, я полагаю, что предстоит еще рыть фундамент“.

Таким образом, на лицо факт и идейного, и чисто литературного влияния одного писателя на другого, и этот факт не только не является чем-то нелестным для нашего великого романиста, но, наоборот, как-то еще более привлекает нас к этой нежной, тонкой, глубокой душе, отзывавшейся так чутко на красоту в чужих произведениях и на проникавшее их стремление к правде, свету и истинной свободе.

Перейдем теперь к истории личных сношений Тургенева и Жорж Санд.

Когда и где они познакомились? В упомянутой уже книжке Гальперина-Каминского говорится, что будто бы это было в 1847 году в доме Виардо, что будто это сказала сама Жорж Санд Шарлю Эдмону (т. е. польскому эмигранту Хоецкому, под этим псевдонимом много лет работавшему на журнальном поприще в Париже и натурализовавшемся во Франции) — и что засим это знакомство возобновилось через посредство общего их приятеля Флобера, будто бы даже и свезшего Тургенева в Ноган после письма к нему Жорж Санд в 1869 г. о том, чтобы он „привез к ней Тургенева“.

Все это неточно и просто даже неверно. Что Жорж Санд мельком познакомилась с Тургеневым до 1848 г., — верно, но вероятнее всего в 1846 г., а

не в 1847 г. и, во всяком случае, не в доме Виардо. Это явствует из простых хронологических сопоставлений и из разных неизданных писем. В 1847 г. друзья Жорж Санд — Луи и Полина Виардо — как раз не были в Париже в те короткие периоды, когда там бывала Жорж Санд, занятая в оба эти приезда устройством судьбы своей дочери Соланж, собиравшейся выйти замуж за одного жениха и внезапно вышедшей за другого. Об этом подробно и много говорится в неизданной переписке Жорж Санд и Полины Виардо, которая вся была в наших руках и по большей части даже переписана нами. Письма Полины Виардо к Ж. Санд необыкновенно интересны и привлекательны. С одной стороны, эта история почти сорокалетней неизменной восторженной привязанности, — скажем более: поклонения — великой писательнице со стороны знаменитой артистки, с другой — подробнейшая летопись ее артистической карьеры, так как она писала Ж. Санд из всех столиц и уголков Европы, куда заносила ее капризно-изменчивая орбита оперной звезды. И вот — мы сразу подчеркиваем этот первый из указываемых фактов — о б о ж а н и е, которое в течение всей своей дружбы с Жорж Санд проявляла Полина Виардо... Даже если бы Тургенев лично не поклонялся с молодости Жорж Санд, как писательнице, то несомненно на человека — „Мадам Санд“ — он должен был взглянуть сквозь призму этой, обожавшей Ж. Санд и обожаемой, им женщины.

Но мы забежали несколько вперед. Итак, в 1847 г. Ж. Санд не могла встретить Тургенева у Виардо тем более, что он был как-раз в Берлине, когда в этом году там были супруги Виардо, писавшие оттуда Жорж Санд. Сколько нам известно, познакомилась Ж. Санд с Тургеневым через Бакунина.

Затем они не виделись целых двадцать или даже двадцать два года. Когда же в начале зимы 1868—1869 г. Тургенев и Ж. Санд вновь увиделись, и завязались между ними истинно-дружеские отношения, не прерывавшиеся уже до самой смерти Жорж Санд, то это действительно случилось в доме Виардо. Опять-таки надо сказать, что так как Ж. Санд между 1848 и 1866 гг. жила по большей части не в Париже, а в Ногане, в Гаржилесе и в Палэзо и наезжала в Париж лишь на короткое время (главным образом для постановки своих пьес), а Виардо до 1863 г. колесила по Европе, а с 1863 г. до 1870 г. почти постоянно жила в Баден-Бадене, с краткосрочным переселением то в Веймар, то в Карлсруэ, то в Лондон, то в Валери-на-Сомме, и тоже лишь наездом бывала в Париже,— то часто пребывания здесь двух знаменитых женщин не совпадали. А в 1869 г. они съехались в Париж одновременно и часто видались и именно благодаря тому, что Полина Виардо, которая при всех своих разнообразных талантах обладала даром композиторства, собиралась написать оперу на одну из сельских повестей Ж. Санд (как, ранее того, ее друзья Гуно и Сен-Санс). Этот проект не был приведен в исполнение, и написали оперу на переделанный г. Карре текст Ж. Санд малоизвестные гг. Семё и Базиль.

Итак, именно в зиму 1868—1869 г. и именно в доме Виардо (а не через Флобера) увиделись вновь Тургенев и Ж. Санд. Тургенев после смерти Ж. Санд, в 1876 г., определенно сказал: „Когда 8 лет тому назад я впервые сблизился с Жорж Санд...“ Правда, кроме Полины Виардо, связующим звеном между двумя великими писателями явился Густав Флобер, опять-таки обожавший Ж. Санд и почти обожаемый Тургеневым. И, действительно, ему адресованы те

два письма Ж. Санд, где упоминается о Тургеневе. Сокрушаясь, что Флобер не приехал в Ноган на протестанские крестины ее внучки, приемником которой был принц Жером, „l'ami du Palais Royal“, как его осторожно называет Ж. Санд, прибавляя, что этот ami du Palais Royal „был бы счастлив повидать тебя, он тебя очень любит и ценит“, Ж. Санд затем пишет (21 декабря 1868 г.): „Тургенев был счастливее нас, потому, что мог оторвать тебя от твоей чернильницы. Я его очень мало знаю, но знаю наизусть. Какой талант, и как это оригинально и сочно. Я нахожу, что иностранцы пишут лучше нас. Они не позируют, а мы или драпируемся, или бесцеремонно разваливаемся (nous nous vautrons). У французов нет более общественной среды и нет более интеллектуальной среды. Тебя я исключаю, потому, что ты создал себе исключительную жизнь, и себя я исключаю из-за присущей мне цыганской беспечности, но я не умею отделять и отполировывать вещи, я слишком люблю жизнь, забавляюсь, как говорится, горчицей и всем тем, что не самый обед,— для того, чтобы когда-либо сделаться литератором. У меня были приступы литераторства, но это длилось недолго“...

2 апреля 1869 г. она пишет Флоберу же:

„Я буду очень рада вновь завязать знакомство с Тургеневым, с которым была немного знакома, не читав его, а с тех пор прочитала с совершенным восхищением. Кажется, ты его очень любишь; ну, тогда и я его люблю и хочу, чтобы, когда окончится твой роман, ты привез бы его к нам. Морис тоже его знает и очень ценит, он-то ведь любит все-то, что не похоже на других“.

(Отметим, что в 40-х годах, когда Виардо особенно часто гостили в Ногане, а в Париже одно

время жили даже в одном доме с Ж. Санд и Шопеном, Морис питал много лет подряд несчастную любовь к Полине Виардо, бывшей лишь на 3 года старше его. Таким образом, он в Тургеневе мог видеть своего бывшего соперника, что, как видим, не помешало ему восхищаться писателем и ценить человека).

Но в 1869 г. Флобер не свез Тургенева в Ноган, так как и самого его было очень трудно оторвать от его упорной работы и вытащить из его уединения в Круассе, откуда он с величайшей неохотой и трудом выезжал редко куда-либо далее Парижа, а в Париже бывал лишь исключительно в литературных кругах, в роде салона принцессы Матильды или литературных обедов, сначала в ресторане Маньи, а потом Café Riche, где собиралась литературная дружеская пятерка: Флобер, Зола, Доде, Мопассан и Тургенев. На трудность вытащить Флобера, оторвать его от его почти каторжной работы и Ж. Санд, и Тургенев постоянно жалуются в своих письмах друг к другу и к нему самому. Итак, не он свез впервые Тургенева в Ноган, а семья Виардо, Полина и ее две дочери — Марианна и Клоди, и произошло это не в 1868 и не в 1869 г., а в 1872 г. Как бы то ни было, дружеские отношения завязались, и, начиная с этого 1869 г., во всех своих письмах к Ж. Санд Полина Виардо находит уже необходимым постоянно сообщать сведения о Тургеневе, о „se bon Tourguénef“ или „le pauvre Tourguénef“ или „le grand Moscové“ или „le gros Tourguénef“, а Ж. Санд, с своей стороны, постоянно высказывает свое восхищение то тем, то другим из прочитанных ею томов его сочинений, переведенных или вновь переведившихся на французский язык, просит передать

ему об этом и приглашение приехать погостить к ней в Ноган.

В 1870 г., за полгода до франко-прусской войны, Тургенев и Ж. Санд виделись в день, запечатленный ужасным событием, описанным Тургеневым в одной из его статей,—в день казни Тропмана. Конечно, все присутствующие помнят этот очерк, и нам нечего указывать на его идейное значение и на поразительное, и правдивое, и художественно-точное, мастерское описание всего виденного и испытанного Тургеневым в эти серые, предрассветные, страшные часы. А вот, что мы читаем в одном не изданном письме Ж. Санд к сыну и невестке от 19 января 1870 г.: „Я совершенно здорова сегодня. Хорошо спала и ела. Перемена воздуха помогла мне. Я видела Тургенева, который много рассказывал мне о Виардо, о Мюллере, Бакуanine и др. Он не ложился спать, он присутствовал при туалете и казни Тропмана, который выдержал всю эту историю с большим спокойствием и легкостью. Только под конец хотел вывернуться, охваченный судорогой ужаса, свойственной всем, кто проходит через эту отвратительную машину..“

События 1870 и 71 гг., война и коммуна, разорившие Виардо и вообще потрясшие всю общественную и частную жизнь во Франции, заставили их покинуть и Баден, и Париж и, как и в 1848 г., бежать в Лондон искать не только заработка, но и необходимой для художницы более здоровой и спокойной атмосферы, чем во Франции, а Жорж Санд временно уехала из Ногана с внучками и сыном, спасаясь от вспыхнувшей там оспенной эпидемии. Таким образом, временно отсрочились свидания Жорж Санд и Тургенева, и лишь в 1872 г. осенью он впервые посетил Ноган.

Прежде чем привести отрывки из писем Жорж Санд, Тургенева и Виардо, относящиеся до этого краткого, но оставившего самые приятные, радужные, восхищенные воспоминания, пребывания в Ногане семьи Виардо и Тургенева, позволю себе сказать несколько слов о самом Ногане, о ноганском времяпрепровождении при жизни Жорж Санд и о ноганском театре марионеток, о котором много говорится в письмах семьи Виардо и Тургенева.

Ноган—усадьба Жорж-Санд—лежит в провинции Берри (теперь деп. Эндры), на середине большой дороги из Шатору в Ла-Шатр, близ речки Эндры и деревеньки Ноган-Вик. В древние времена тут, как говорят, был настоящий замок, но от него остались лишь две башни, служащие арендатору вместо амбаров, да приютом для сотни голубей, гнездящихся среди развалившихся стен. А самый дом Жорж-Санд это просто большой двух-этажный каменный дом, построенный в половине 18 века, с высокой покатой крышей, высокими неуклюжими трубами и монументальными воротами при въезде во двор, отгороженный железной решеткой от деревенской площади. Из просторных сеней полукруглая широкая лестница, освещаемая обязательным *oeuil de boeuf*, под которым в нише стоит обвитой зеленью бюст Жорж Санд, ведет в верхний этаж в корридор, вымощенный кирпичем, прорезывающий здание во всю его длину. На этот корридор выходит комната Жорж Санд, ее библиотека с коллекцией камней, гербарием, всевозможными диковинками, привезенными из путешествий ею самою или ее друзьями. Теперь тут же хранятся все реликвии, относящиеся до нее самой: ее волосы, слепок ее руки, ее веер, брошка и браслет, ее работы:

вышивки, вырезания из бумаги, акварели и т. д. Здесь же наверху была комната Мориса, Лины Санд и ее дочерей и комната для приезжих, а внизу просторная выложенная камнем светлая столовая, большая комната с кабинетиком, где жила некогда бабка Ж. Санд, и сама она в первые годы замужества, биллиардная, зала, ванна, кухня и наконец, большая великолепная гостиная стиля Louis XV, украшенная портретами Морица Саксонского, его матери Авроры Кенигсмарк, его дочери—Мари Авроры Саксонской, в замужестве Дюпен, ее сына (отца Жорж Санд)—офицера наполеоновских войск Мориса Дюпена, самой Жорж Санд в молодости, наконец, ее сына Мориса Дюдеван и внука Марка-Антония (умершего в младенчестве). Здесь же стоит фортепиано, на котором некогда играли и Шопен, и Виардо, и Дессауэр, здесь и знаменитый громадный „круглый стол“, вокруг которого собиралась по вечерам вся ноганская семья. В мансарде под крышей помещалось ателье—живописная мастерская Мориса Санд, его энтомологические коллекции, склад декораций и т. д.

С одной стороны к дому примыкает цветник, где Жорж Санд и ее сын в течение многих лет сажали и акклиматизировали всевозможные деревья, растения и цветы из чужих краев, из всех стран и поясов земного шара. Этот сад лишь невысокой стенкой отгорожен от деревенского кладбища, часть которого отделена для могил семьи: тут лежат и бабка, и отец Ж. Санд, и сама она, и ее сын и внук (а теперь и внучка, и невестка), почти рядом с маленькой старинной церковью чуть ли не XI века, стоящей на площади, затененной громадными старыми вязами. С другой стороны к дому примыкает парк, окруженный канавой; в конце парка остро-

вок с ведущими на него мостиками; на островке рощица, вся заросшая голубыми барвинками; вечно-зеленый плющ обвивает стволы и перебрасывается с дерева на дерево; камни поросли мохом и папоротниками. Если выйти из парка, увидишь бесконечные нивы и луга; полосы возделанной земли, разделенные невысокими стенками, увитыми терном, шиповником и ежевикой; дороги, обсаженные вековыми каштанами, орехами и тополями, и—на горизонте—синеющие ряды лесистых округлых холмов. Тишина, простор и удивительное, словно разлитое в воздухе, спокойствие, и самый воздух мягкий, будто чуть подернутый нежной дымкой.

Вот каков дом в Ногане и окружающая его природная рамка.

В этом милом старом доме всегда много работали, а часы отдыха умели проводить интересно, весело, занятно и для себя, и для приезжих или гостивших друзей. Имя Жорж Санд привлекало сюда самых разнообразных людей, от светил европейской науки, литературы и искусства, артистов и поэтов, до особ королевских и императорских домов, а Ноган всегда славился своим широким гостеприимством и полным простоты радушием. И при Жорж Санд, и после ее смерти, и в те годы, когда, напр., мне случалось там гостить, и когда хозяйками Ногана являлись невестка Ж. Санд, вдова Мориса — Лина Санд и ее очаровательная дочка Габриэль, — время дня шло своим неизменным порядком: утром все хозяева и гости (а в Ногане при Жорж Санд всегда было много молодежи: ее племянники, сыновья и внуки ее старых друзей, товарищи Мориса, молоденькие актрисы парижских театров, участвовавшие на домашних ноганских спектаклях и т. д.), итак все

хозяева и гости, выпив чай или кофе у себя в комнатах, занимались каждый своим делом,—кто литературой, кто живописью, гравюрой, кто охотой, кто гербаризированием, кто шитьем, кто домашним хозяйством. К завтраку все сходились в большую столовую, спускалась и Жорж Санд, поздно вставшая, так как поздно ночью писала (хотя и не до самого утра, как в молодые годы). За завтраком шла самая непринужденная беседа, молодежь и старики рассказывали анекдоты, остряли, устраивали друг другу всевозможные шутки и сюрпризы, и редкий день проходил без того, чтобы тот или другой из семьи не находил на своем приборе или в своей комнате то шутливой записки, то цветка, то подстроенной кем-нибудь из друзей „каверзы“. Отсюда—хохот, веселая пикировка, новые шутки и веселье. После завтрака все шли в парк, бродили немного по аллеям или по цветнику, как говорится, „делали сто шагов“, а за сим, если не предпринималась какая-нибудь общая экскурсия или прогулка, все опять расходились по комнатам, а Ж. Санд до самого обеда засаживалась за свое писание. Поздний обед проходил так же весело, как и завтрак. А вечером все собирались „вокруг круглого стола“ в гостиной („Autour de la table“ — зовется и одно из автобиографических произведений Жорж Санд), и тут-то наступало лучшее время дня в Ногане. То читали вслух какое-нибудь только-что оконченное сочинение Ж. Санд или ее сына или привезенную кем-либо из Парижа литературную новинку, обсуждали прочитанное, спорили или обсуждали канву или сценарий для будущей *commedia dell'arte*, игравшейся в Ногане, а слушатели рисовали, клеили декорации, шили костюмы для марионеточного или большого ноганского театра,

играли в гусек, в домино, в шахматы. Если гостил Дессауэр, Полина Виардо,—слушали их музыку и пение. Певала и Лина Санд, у которой был прелестный голос. Часто устраивали шарады, переряжались. Но самыми праздничными вечерами являлись вечера спектаклей марионеток. Поэтому скажем несколько слов о происхождении и истории этого театра.

Зимой в 1848—49 г., когда после драмы, разыгранной в личной жизни Ж. Санд (разрыв ее с Шопеном и дочерью), и после политической трагедии, называвшейся революцией 1848 г., Жорж Санд, глубоко потрясенная и подавленная, проводила тяжелые дни в деревенском одиночестве, которое разделяли с ней лишь сын ее Морис и один его товарищ,—этот Морис как-то захотел позабавить обожаемую им мать. Всегда изобретательный на всякие проделки и выдумки, зная пристрастие матери ко всему театральному,—Ж. Санд всегда любила театр, это было у нее в крови,—он решил прибегнуть к верному, по его мнению, средству развлечь ее и на сей раз представить ей... Петрушку. И вот, спрятавшись в один прекрасный вечер со своим другом Ламбером, впоследствии известным живописцем, за спинку кресла и обернув руки первым попавшимся платком, Морис вдруг разыграл со своими „мальчиками с пальчик“ целую маленькую комедию. И так как у него был несомненный комический и импровизаторский талант, то он внес столько увлечения, веселости и неожиданного в это примитивное представление, что не только рассмешил до слез, но и доставил искреннее удовольствие Ж. Санд, этой правнучке актрисы де-Веррьер и дочери актрисы бульварного театрика, уже в 12 лет переделывавшей мольеров-

ские пьесы для монастырских любительских спектаклей. На другой день представление было повторено, при чем Морис уже смастерил что-то в роде первобытных марионеток из дерева и тряпок. Вскоре он вырезал из дерева целую маленькую трупку, перешел с ней сначала к классическим „ширмам“, этой обязательной обстановочной принадлежности „Петрушек“, а затем устроил и настоящий маленький театр.

Куклы, игравшие роль актеров, были не бессмысленные фантоши, все на одно лицо, которых дергают за веревочку, а они дрыгают руками и ногами. Марионетки Мориса Санда, напротив, были претипичными маленькими суб'ектами, каждая со своей определенной физиономией, соответствовавшей ее амплуа или тому типу, который она должна была олицетворить; двигались они не посредством ниток или пружин, и импрессарио повелевал ими не сверху, а, наоборот, он находился, так сказать, под уровнем театра, как хозяин Петрушек, и, продев указательный палец внутрь головы марионетки, а большой и третий палец в ее руки, произвольно двигал марионеткой и ее руками так, что кукла казалась живою. При этом он изменял голос соответственно каждому изображаемому им лицу. А так как при этом Морис с Ламбером представляли на своем театре не нашего старого любимца „московского барашка“, а либо какую-нибудь романтическую трагедию, либо безумно веселую итальянскую буффонаду, то и действующих лиц у них являлось очень много. И вот, когда один из немых актеров кончал свою тираду и на сцену должно было появляться другое действующее лицо, а иногда и многие действующие лица, то Морис незаметно натывал марионетку на нарочно приспособ-

собленный тычек, находившийся несколько в глубине сцены; таким образом, зараз на сцене могло находиться столько действующих лиц, сколько требовалось автору этой комедии в миниатюре. Если кукла сразу не попадала на тычек, этим она портила выход или уход, или реплику другой марионетки. „Не попасть на тычек“ стало вскоре синонимом неудачного выхода или забытой реплики не только для марионеток, но и для больших ноганских актеров. От них его переняли и приезжавшие в Ноган актеры Одеона, и долгое время за кулисами „второго французского театра“ употреблялось выражение „не попасть на свой тычек“, „прозевать свой тычек“ (manquer son piton), как синоним какой-нибудь заминки или неудачи. Кто бы подумал, что его взяли от... деревянных актеров Мориса Санда!

А он, между тем, делал с ними настоящие чудеса. Он завел красивые и, благодаря своему знанию перспективы и таланту к живописи, разнообразные декорации; устроил отличное и художественное освещение; посредством разных остроумных комбинаций и сноровок довел до большого совершенства всевозможные театральные эффекты: уменьшение света, темноту, молнию, гром, луну, восход солнца, водопады, внезапные провалы и появления, шествия, парады войск и т. д., и достигал полной сценической иллюзии, а, главное, сочинял интересные, каждый раз новые и новые, сценарии для представления своих кукол. Все видевшие их, начиная с самой Жорж Санд, говорят, что впечатление от театра марионеток было прямо поразительное, не поддающиеся описанию. При фантастическом освещении, умелой группировке и уменьи Мориса распоряжаться со своими

безмолвными актерами,—куклы казались живыми, глаза их (сделанные посредством вдавленных в головы эмалевых пуговиц) блестели и казались смотрящими, голос Мориса имитировал и передавал всевозможные тембры, выговоры и акценты действующих лиц, а зрители смеялись и плакали, как на настоящих театральных представлениях. „Никто не знает, как многим я обязана марионеткам моего сына“,—написала впоследствии Жорж Санд,—и тут не было никакого преувеличения. Марионетки спасли ее от отчаяния и нравственной прострации в 1848 г. и дали новый толчок и направление ее деятельности: она обратилась опять к драматическому творчеству, совсем было брошенному, и в течение 7—8 лет написала слишком 15 пьес. Кроме того, заинтересовавшись благодаря этому актерским миром, написала и ряд романов и повестей из быта артистов или где действующими лицами были артисты.

Вот каковые были „ноганские марионетки“. Теперь понятно, что самыми праздничными вечерами в Ногане были дни представлений. В эти дни обедали раньше, дамы надевали нарядные платья, точно будто собирались в настоящий театр; оживление заранее всех охватывало, а когда все гости Ногана и окрестные друзья собирались в театральную залу, занимали места, поднимался занавес и начиналось представление, то за ним следили, как за настоящим представлением, у всех были даже свои любимцы и любимицы из числа деревянных актеров с „Баландаром“, предводителем „банды“, во главе. Им аплодировали, вызывали их, а примадонам даже подносили цветы. Обо всем этом очень интересно повествуется и во втором томе „Воспоминаний“ Мадам Адан, и в „Воспоми-

ианиях“ Эдмона Плошю, и в статье самой Жорж Санд: „Марионетки Мориса Санд“.

Обратимся теперь к письмам Жорж Санд, Полины Виардо и Тургенева, относящимся к поездке в Ноган в 1872 году знаменитой певицы и нашего великого писателя:

Гюставу Флоберу.

Неизданное.

31 августа, 1872.

„...Я жду Полину Виардо около 20 сентября и надеюсь также на Тургенева. Не приедешь ли и ты также? Это было бы так хорошо и так полно. В этой надежде, от которой я не хочу отказаться, я тебя люблю и обнимаю от всего сердца, и дети мои присоединяются ко мне и также любят и зовут тебя“.

Госпоже Жорж Санд.

С. Валери на Сомме. 17 сентября.

„Моя дорогая Нинонна¹⁾! Лишь сегодня мне возможно назначить день нашего приезда в Ноган..., (узнав день начала занятий в Консерватории). Я приеду с Клоди и Марианной 26-го. Тургенев уедет отсюда 23-го, чтобы сделать маленькую поездку в Турень, откуда он, без сомнения, вернется во-время, чтобы с нами вместе выехать из Парижа 26-го. Луи и Поль приехать не могут, да и то достаточно: 4 человека зараз. Мои девочки обожают вас, а то я бы меньше их любила. Мы заранее берем четыре кресла в театре Мориса“.

¹⁾ Это было ласкательное прозвище, которым называла Жорж Санд Полина Виардо.

20 сентября 1872.

Шарлю-Эдмону.

Морис уехал в Солонь с семьей Буте, он вернется 26-го, чтобы принять мадам Виардо с ее дочерьми и Тургенева. Я написала Ферри [генералу Ферри-Пизани], чтобы и он приехал, и Плошю возвращается тоже, так что, вы видите, Ноган не пустует...“

16 октября 1872.

„... У нас в течение всего сентября было от 15 до 20 человек, танцы, марионетки, музыка, ах, что за музыка! Полина Виардо и ее дочери! Радости красоты, испытанные вами в Венеции, были и у нас в Ногане. Тургенев тоже приезжал, и наш друг ген. Ферри, о других я не говорю, вы их не знаете. Среди всего этого я доканчивала большую работу. Плошю вернулся одновременно с мадам Виардо...“

Париж, среда 10 октября, 1872.

Дорогая мадам Санд.

„Девочки пишут вам ¹⁾, и я тоже должен прибавить слово. Я должен сказать вам, как я был счастлив, что увидел Ноган и вас в нем ²⁾. Это самое прелестное гнездо, о котором только можно мечтать, а все окружающие вас очаровательны. Вы это заслужили, но надо бесконечно радоваться,

¹⁾ Восторженные письма Клоди и Марианны Виардо от того же 10 октября действительно находятся в общей корреспонденции семьи Виардо с Ж. Санд. Письмо Клоди начинается словами: „Мы в мечтах все еще в Ногане...“

²⁾ Флоберу он писал, что из-за припадков подагры пробыл в Ногане всего один день. „Все равно, я счастлив, что побывал в Ногане и увидел Ж. Санд у себя в доме. Она, конечно, самая любезная женщина, которую только можно вообразить. И все, и все ее окружающее прелестны“. Очевидно, что это было п е р в о е посещение Тургеневым Ногана.

что заслуженное сбывается. Девочки только и говорят, что про Ноган, а я надеюсь вернуться туда в течение зимы, когда у меня не будет подагры. Скажите нашей восхитительной Лоло, что тогда я ей расскажу прехорошенькие сказки. Это будет получше, чем про дурака Блэза...

Тургенев рассказывал сказки внучкам Ж. Санд, Авроре и Габриели, которых звали сокращенно Лоло и Тишон, и которых эти сказки чрезвычайно занимали и радовали.

1872. 6 октября. Париж.

„Моя дорогая милочка“.

„Если вы думаете о нас, то и мы порядочно-таки думаем о вас. Ах, какую прекрасную неделю мы провели в этом старом милом Ногане! Все растрогиваются, как только заговаривают о вас. „Ох, какая добрая эта Ниннона! восклицают они“. Лулу восхищен нашими рассказами и вздыхает. Ваше дорогое письмо чуть не заставило меня расплакаться сегодня поутру. Все, что вы мне говорите, слишком хорошо, но доставило мне ужасно много удовольствия. Скажите прелестной Лине ¹⁾, что ее припасы поедались нами с жадностью. Они были восхитительны... Всю нашу любовь шлем нашей доброй, великой, милой, возлюбленной Нинноне“.

Вслед за отъездом Тургенева Ж. Санд, желая, очевидно *игби et огби* выразить чем-нибудь свое уважение к великому русскому писателю, свое восхищение его талантом, поместила в „Temps“, в виде одной из глав печатавшихся ею в этой газете „Воспоминаний и Впечатлений“, не-

¹⁾ Лина—жена Мориса Санд, дочь старого друга Жорж Санд, гравера Лунджи Каламатта.

большой очерк под заглавием „Пьер Боннен“¹⁾, которому предпослала следующие строки:

„Найдя в своих ящиках этот плохенький набросок с никому неизвестного человека, умершего много лет назад, я спросила себя, достоин ли он того, чтобы появиться в свет? Я была под обаянием той обширной галереи портретов с натуры, которую вы напечатали под заглавием „Воспоминания русского барина“²⁾ („Mémoires d'un seigneur russe“). Какая мастерская живопись. Как их всех видишь, и слышишь, и знаешь, всех этих северных крестьян, еще крепостных в то время, когда вы их описывали, и всех этих деревенских помещиков из мещан или дворян, минутная встреча с которыми, несколько сказанных слов были достаточны для вас, чтобы нарисовать образ, животрепещущий и яркий. Никто не мог бы сделать это лучше вас!“...

Тургенев был и тронут, и польщен, и восхищен этим публичным выражением литературной симпатии со стороны знаменитой писательницы и пишет ей на другой же день выхода „Пьера Боннена“ в свет:³⁾.

„Дорогая мадам Санд“.

„Вы легко можете себе представить, что я переживал, читая вчерашний „Temps“. Выражения мои, устные или письменные, всегда ниже того,

¹⁾ Но это вовсе не „повесть“ (nouvelle), как называет его г. Гальперин-Камивский, и даже не рассказ, а просто характеристика одного ноганского старого плотника и столяра, большого оригинала и чудака.

²⁾ Под этим заглавием вышло первое издание „Записок Охотника“ в переводе г. Шарьера, до того неточного, неверного и искажающего самый смысл, что Тургенев в 1854 г. письмом на имя редактора „Journal de St. Pétersbourg“ нашел нужным выразить свое негодование. В 1863 г. вышел новый перевод—Луи Виардо и Марье,—уже под заглавием „Récits d'un chasseur“

³⁾ Газета „Temps“ выходит вечером и помечена всегда числом следующего дня. „Пьер Боннен“ появился 29 октября 1872 г.

что я чувствую, когда это касается личных дел. Робость это или неловкость,—не знаю. Например, отправляясь в Ноган, я пообещал самому себе рассказать вам о громадном влиянии, которое вы оказали на меня, как на писателя. И что же? Я, кажется, остался почти нем. Но на этот раз, однако, я хочу сказать Вам, что был совершенно расстроган и горд, прочтя то, что Жорж Санд говорит о моей книге, и совершенно счастлив, что она захотела сказать это. У Шиллера есть стихи:

„Wer für die Besten seiner Zeit gelebt“,
„Der hat gelebt für alle Zeiten“.

Итак, мне уже довольно жить теперь, и вы мне уделите часть своего бессмертия. Я очень, очень искренно благодарю вас и хотел бы поскорее увидеть вас в Париже, чтобы поблагодарить вас еще. В ожидании этого нежно целую ваши руки и остаюсь навсегда

Вашим Тургеневым“.

В 1873 г. Тургенев повидимому, — мы говорим повидимому, — побывал весною в Ногане один, или, может быть, именно на этот раз с Флобером ¹⁾. А осенью этого года он вновь побывал там с семьей Виардо, и опять эти „ноганские веселые дни“ оставили обаятельные воспоминания у хозяев и гостей. Перед этим путешествием в Ноган Тургенев писал Жорж Санд из Буживаля 3 сентября 1873 г.:

„... Мне нечего вам говорить, не правда ли? Как я счастлив, что мои книги нравятся вам! Это

¹⁾ Он упоминает о Жорж Санд в письме от 17 мая к Полонскому, называя ее „предоброй, премилой и преумной старушкой“, а 12 апреля писал ей, что не может приехать в понедельник, но в среду приедет обязательно, „если только не умрет“. Но мы не знаем точно, приезжал ли он в Ноган, или, как это часто с ним бывало, внезапная болезнь задержала его.

будет моим лучшим аттестатом на славу, а пока это доставляет мне несказанное удовольствие. Если вы часто подумываете о нашем приезде, то весь дом здесь только и мечтает, что о поездке в Ноган... Вероятно это будет 15-го. Я не думаю, что сам Виардо приедет, но зато Поль...¹⁾ Я смогу приехать лишь тремя или четырьмя днями позже, около 18-го, так как Флобер ждет меня в Крауссе около 15-го. Я постараюсь его захватить с собой, но не думаю, чтобы это мне удалось; он по шею погружен в разные работы, драматические и литературные, и не захочет оторваться“.

А 5-го октября Полина Виардо пишет:

„Вот мы и вернулись в свою овчарню. Насколько мы здесь ведем иную жизнь! Работаем и гуляем. Спать ложимся в 9 часов. Ни танцев, ни игры в свинчатку, ни пива по вечерам, увы! ни марионеток!.. Здесь мы отдохнем, а с понедельника я буду три раза в неделю ездить на уроки в консерваторию. Плошю верно написал Вам о знатном страхе, заданном нам всем большой мягкой грушей в день нашего путешествия. Слава Богу, последствий не было. Третьего дня наш милый большой трус уехал в Крауссе, чтобы посетить своего друга Флобера. Он вернется завтра вечером. Надо надеяться, что никто не произнесет слово „холера“ во время его тамошнего пребывания, потому что иначе, Бог знает, что может случиться, по меньшей мере, расстройство вроде того, что было в дороге, а это неладно, если так часто повторяется. Погода чудная, я надеюсь, что вы и сегодня и вчера купались“²⁾.

¹⁾ Сын Виардо, скрипач, выступавший, между прочим, и в Петербурге, в 80-х годах.

²⁾ Ж. Санд купалась в ледяной воде речки, протекающей близ Ногана, до самой поздней осени и до самых последних дней своей жизни.

А двумя днями ранее, 3 октября 1871 г., Жорж Санд писал Флоберу:

„Мне нужно было немного поработать после от'езда всех Виардо и великого Москаля (du grand Moscové), который был очарователен. Он уехал очень веселым и очень благополучно, но сожалел, что не побывал у тебя. Но дело в том, что он был в эту минуту болен. Какой это приятный, превосходный и достойный человек! И какой скромный талант! Его здесь обожают, и я подаю тому первый пример. И тебя тоже обожают, о, ты мой любимый Крюшар!..“

Больше Тургенев в Ноган, кажется, не ездил¹⁾, но переписка его с Жорж Санд показывает, что и он и она, со свойственной обоим их натурам деятельной любовью к людям и всегдашним желанием оказать услугу, помочь и друзьям, и знакомым, и незнакомым, поручали друг другу своих protégées и хлопотали друг для друга. Так, Тургенев просил Жорж Санд порекомендовать Бюлозу писательницу мадам Анри Гревиль, как известно, долго проживавшую в Петербурге и писавшую романы из якобы русской жизни. И, в свою очередь, он хлопотал о приискании работы—переводов с русского—для старинного приятеля Ж. Санд—Роллина. Надо опять-таки отметить, что г. Гальперин-Каминский очень ошибается, говоря, что речь идет о Морисе Роллина, известном модернистском поэте, авторе стихотворений „Les Nevroses“. Дело идет о Шарле Роллина,—брате лучшего друга Жорж Санд, Франсуа Роллина (она его называла своим Пиладом)—и дядюшке этого самого поэта. Этот Шарль Роллина, в молодости отличный певец, носивший даже

¹⁾ Из писем Полины Виардо к Жорж Санд от осени 1874 г. и писем Тургенева 1875 года это можно заключить. В 1874 г. Тургенева одолела подагра-

поэтому кличку „le Bengali“ — индийского соловья¹⁾), — уехал в Россию, жил в качестве гувернера в семье князей Куракиных, потом поступил на казенную службу, нажил кое-какое состояние, выучился хорошо по-русски, потом переехал в Италию, совершенно разорился и именно в этом 1874 году обратился к Ж. Санд с письмом из Комо, прося ее помочь и, в частности, пристроить к какой-нибудь литературной работе. И вот Ж. Санд пишет 8-го апреля 1874 г. своему приятелю и приятелю всей семьи Виардо, Плошю, рассказывает приблизительно все то, что мы сейчас передали со слов письма самого Шарля Роллина, и прибавляет, что она всегда, „во все время его пребывания в России имела о нем не только хвалебные, вполне заслуженные им отзывы, но и полное восхваление его порядочности и честности“. „Я его рекомендую Полине, чтобы она его допустила на свои вечера, у нее будет страстный слушатель, некогда бывший безумно влюбленным в Малибран; я его рекомендую и Тургеневу, чтобы он дал ему перевести какой-нибудь роман. Предупреди их, чтобы мне не приходилось надоедать им длинным рассказом в письме“.

Ответом на это поручение, переданное Плошю, является именно то письмо Тургенева, в котором говорится о Роллина:

Париж, среда 15 апреля, 74.

„Немедленно по получении вашего письма я написал нашему приятелю Плошю, прося его познакомиться меня с г. Роллина. Я буду счастлив быть ему полезным, услужить ему, чем ему угодно.

¹⁾ „Он пел, — говорит Ж. Санд, — как больше уже не поют, — разве только Полина...“.

Я пробежал его перевод, он очень хорош. Плошу вероятно завтра приведет его к г-же Виардо (у нее четверги, на которых бывает музыка).

„Что сказать вам о похвалах, расточаемых вами „Живым Мощам“. Они так великолепны, так подавляют, что я едва смею благодарить вас. Но, уверяю вас, что они меня очень обрадовали, по этому поводу я должен сказать вам нечто: я намеревался посвятить вам этот рассказец, но Виардо, мнения которого я спросил, посоветовал мне подождать, пока я напишу что-нибудь позначительнее и более достойное великого имени, которым я хотел его украсить. Теперь я сожалею, что не послушал своего первого движения, так как, кто знает, что выйдет из другой вещи. Во всяком случае, прошу вас принять к сведению мое намерение. Через три недели я уезжаю в Россию, боюсь, что увижу вас лишь осенью в Ногане“.

Итак, „Живые Мощи“,—этот как бы один из заключительных эпизодов „Записок Охотника“, должны были быть посвящены Ж. Санд, являясь как бы ответом на посвящение „Пьера Боннена“. Французская писательница не раздумывала долго, а посвятила восхитившему ее автору даже и плохо переведенных „Записок русского барина“ то, что нашла под рукой из набросанных ею страниц, не Бог весть какую в смысле художественном, но обрадовавшую Тургенева, как публичное выражение сердечной симпатии и признания его таланта со стороны знаменитого французского писателя. Автор „Дневника Лишнего человека“, „Аси“ и „Вешних Вод“ проявил тут черту своих героев—нерешительность, медлительность, неуверенность в себе, попросил чужого совета и .., в конце концов, „Живые Мощи“,

которые гораздо выше „Пьера Боннена“, вышли без имени Ж. Санд, а сама вещь ей искренно понравилась, и Тургеневу пришлось пожалеть задним числом, что он послушался не своего первого побуждения, а совета своего друга Луи Виардо. Мораль: не всякого дружеского совета надо слушаться. Авторам, скульпторам, музыкантам и живописцам следует помнить совет Антокольского всем художникам: „Всех выслушивать и никого не слушаться“.

В конце концов, Роллина разошелся с Бюлозом и с „Revue des deux mondes“, куда его устроил Тургенев. Он, т. е. Тургенев, пишет Ж. Санд 9-го апреля 1875 года:

„Я счастлив, что мои игрушки понравились Вашим девчечкам, а мои рассказы—вам, и от всего сердца благодарю, что вы это мне так мило и милостиво говорите. Так как мне необходимо побывать в Ногане, прежде чем я попаду в Карлсбад, то прошу вас мне сказать, подходят ли вам дни между 15 и 20 апреля... Вы, конечно, уже видели этого добряка Роллина, который „разбюлозился“ (s'est débulozé). Передайте ему мой дружеский привет, также и верному Плошю, и всему вашему гнезду. Флобер работает, как каторжный, он совсем воспламенен. Он очень вас любит, и я вас очень люблю, с нежностью целую ваши дорогие ручки и остаюсь вашим верным Тургеневым“.

Итак, как видно из этого письма, Тургенев намеревался и в этом 1875 году побывать в Ногане, но привел-ли он это намерение в исполнение, сказать не можем.

А по поводу Роллина у него произошло некоторое несогласие во мнениях с Ж. Санд. Дело в том, что она постаралась после того, как Роллина „разбю-

лозился", устроить ему работу в „Тетрз“, куда он представил свои переводы „Двух Гусаров“, „Набега“ и „Севастополя“ Толстого и некоторых тургеневских вещей. Но, повидимому, Тургенев остался недоволен его переводами, находя их черезчур вольными и неточными. По этому поводу в письмах Ж. Санд к Плошю и к Шарлю Эдмону можно прочесть очень интересные, но и очень курьезные мнения Ж. Санд о том, каковы должны быть переводы с иностранных языков на французский для того, чтобы прийтись „ко двору“ французской публике. Вот два ее письма на эту тему; если с первым еще отчасти можно согласиться (кроме того интересно в нем, между прочим, мнение Ж. С. о Толстом), то второе кажется нам, русским, более чем странным. Оба не изданы.

25 апреля 1875 г.

„Твое письмо меня очень встревожило по поводу Шарля. Что случилось? Я ничего не знаю. У меня давно нет от него вестей, и он ничего мне не об'яснил, я ему отвечала, предлагая, как всегда, свои услуги. Ничего ровно. Я беспокоилась об этом и надеялась, что ты об'яснишь, каково его положение. А ты мне, как и он, пишешь загадками и умалчиванием. Что касается до его „Двух Гусаров“, то вещь эта сама по себе шедевр, и если это не точно переведено, чего я знать не могу, то это в десять раз приятнее читать, чем ту форму, которую сочинениям Тургенева придают переводчики; часто их надо угадывать вместо того, чтобы понимать с первого раза. Ты можешь сказать это Тургеневу. Его вещи кажутся переведенными русским. Дух языка передается на другом языке

равнозначащими словами, а когда придерживаются точности, то именно и не передают этого духа. Словом, я рассчитываю на тебя для бедного моего Шарля и рассчитываю, что ты мне скажешь, что можно сделать для него; не знаю, в „Revue“ ли он попрежнему, а ты ничего не говоришь“...

В письме к Шарлю Эдмону от 9 июля, желая выяснить „положение Роллина по отношению к „Temps“ и указывая, что его хорошо сначала там приняли и все, что он туда поместил,—переводы и собственные писания,—было очень мило (tres joli)¹⁾, а затем к нему охладели, и он не знает, почему,—она прибавляет: „Вот что мне Плошю про все это говорит: Тургенев проявил много любезности и доброты при просмотре переводов Роллина, но либо эта доброта утомилась, либо он не уразумел, насколько его слово имеет значения, и верно жаловался по поводу кое-каких ошибок в переводе и тем привел Эбрара (редактора „Temps“) к недоверию и полному охлаждению. С своей стороны, Роллина говорит, что Тургенев, пересматривая корректуру, заставил Роллина сделать ошибки с точки зрения французского языка. Но Роллина говорит это тихонечко и мне одной, а Тургенев критикует настолько громко, что некоторым образом закрыл ему доступ в фельетоны. Я знаю, что если бы великий человек сказал мне: „Вот русский, которого я люблю и которому покровительствую, просмотрите, пожалуйста, его перевод с русского на французский“,—то будь я больна и хоть при смерти, я бы исправила его ошибки, не жалуясь и ничего никому не говоря. Ведь если быть услужливым, так уж быть вполне. Пусть все это останется между мною

¹⁾ Сейчас укажу, насколько и это „joli“ было тоже не точно, и как Жорж Санд к этому отнеслась по свойственной ей доброте.

и вами, дорогой друг, который настоящая воплощенная услужливость, а я, понимая обязанности дружбы, не хочу беспокоить Тургенева этим инцидентом. Вначале он был очень добр и пристроил Роллина, а потом это ему надоело, хотя вещь была и очень коротенькая, и он принес его в жертву минуты дурного настроения и усталости. Мне думается, что Роллина ничего этого не знает. Я не захотела говорить с ним об этом, чтобы не впутывать Плошю в сплетни. Во всяком случае, рукопись, которую я вам посылаю, не перевод, а изложение, весьма мало прикрашенное, личных воспоминаний". (Мы сейчас скажем, как это было „мало прикрашено"). „Это воспоминания выдающегося артиста, очень способного судить о других и жившего среди атмосферы музыкальных вершин. Это интересно, и я не вижу основательных причин к тому, чтобы отказать ему, а что касается до будущих переводов, то полагаю, что если даже в них встретятся кое-какие галлицизмы, в них будет то достоинство, что они будут написаны превосходным языком и лучше передадут дух подлинника, чем шепетильная точность. В этом отношении я не согласна с Тургеневым, который требует, чтобы было переведено слово-в-слово, с тщательностью, которая, по его мнению, способна передать дух его языка на нашем. Выходит из этого то, что переводы, наиболее ценимые им, хуже всех для нашего французского литературного понимания. Он был бы прав, если бы дело шло о том, чтобы дать нам подлинный текст великих мастеров и учителей, но мы до этого еще не дошли. Нас, у нас во Франции, нужно знакомить и просвещать мало-по-малу; если бы у нас не было целой сотни прикрашенных, припороженных и смягченных переводов иностранных ве-

ликих писателей, мы их никогда бы не поняли. Лишь потому, что наше изумление и предвзятые мнения мало-по-малу были уничтожены посредством равнозначащих переводов, мы ныне принимаем переводы подлинные и чувствуем их достоинство и пользу. Но ведь не в газетных же фельетонах могли бы подобные переводы иметь успех у публики, и если бы мне было поручено перевести Тургенева или кого-угодно из русских, то мне думается, я не оказала бы ему услуги, переведя его точно, слово-в-слово“.

В письме от декабря того же 1875 г. Жорж Санд просила, в виду тягостного финансового положения Роллина, либо напечатать его вещь ранее ее собственного произведения, либо уплатить ему вперед некоторую сумму, якобы за уже напечатанные его статьи, и обмануть его, так как он, по своей щепетильности ни за что не возьмет денег иначе; но Роллина догадался об ее добром обмане. Желая поддержать его, она, более того, даже допустила его напечатать в его „Воспоминаниях“ целый ряд небылиц насчет пребывания в Ногане Листа и Шопена. Позволю себе привести еще несколько строк из своей книги. Роллина рассказывал в своих „Воспоминаниях“, и это повторялось сотни раз в биографиях Листа и Шопена, что будто бы Полина Виардо, Лист и Шопен гостили одновременно в Ногане, что будто бы фортепиано вынесли на террасу, и ноганский парк оглашался то трелями соловья, то трелями Виардо, то нежными звуками игры Шопена, то мощными раскатами игры Листа, что однажды Лист в темноте сыграл за Шопена, а обман открылся, когда принесли свечи, и будто бы Лист сказал—все это якобы за критику его игры со стороны Шопена: „Вот Лист мог сойти за

Шопена, а Шопен может ли сойти за Листа“?, что, наконец, эти музыкальные состязания заканчивались ужинами, за которыми пунш пили из большой серебряной чаши... Читая эти „Воспоминания“, молоденькая Лина Санд, заведывавшая всем хозяйством и инвентарем Ногана, начиная с 1864 г., спросила Ж. Санд: „Мамочка, а где же эта чаша теперь?“— „Милочка, ее никогда не бывало, она существовала, как и все прочее, лишь в воображении Шарля“...— „Но зачем же, мамочка, вы позволяете писать все эти глупости“?— Ах, дорогое дитя, ему так нужны деньги, а мне это все равно“...

Не доказывает ли все это, что из-за своей доброты Жорж Санд могла и к переводам Роллина отнестись черезчур снисходительно, и вероятно Тургенев был совершенно прав, не одобряя его „отсебятины“ и „вольностей“.

В апреле 1878 г. Тургенев в своем письме к Жорж Санд благодарит ее за присылку томика ее сказок под заглавием „Г о в о р я щ и й Д у б“ и пишет, что не знал многого из перепечатанного в этом томе, и собирается с семьей Виардо читать эти вещи в течение многих вечеров.

А через два месяца Жорж Санд уже не было в живых. Тургенев узнал о ее смерти по дороге в Спасское из „Нового Времени“, хотел послать телеграмму от имени русской публики, но опять, как и в деле с посвящением „Ж и в ы х М о щ е й“, оробел, не посмел („побоялся „Фигаро“ и рекламы“, так он пишет в письме к Флоберу по поводу этой горестной для них обеих утраты),—и телеграмма так и осталась непосланной во Францию. Зато он написал письмо Суворину, которое появилось в „Новом Времени“ и перепечатано в „Собрании писем Тургенева“, и хоть его все знают, я его приведу целиком.

„Проездом через Петербург я в одном вашем фельетоне прочел слова: „Жорж Санд умерла, и об этом не хочется говорить“. Вы вероятно хотели этим сказать, что о ней надо говорить много или ничего. Не сомневаюсь в том, что впоследствии „Новое Время“ пополнит этот пробел и, подобно другим журналам, сообщит, по крайней мере, биографический очерк великой писательницы; но все-таки прошу позволения сказать слово о ней в вашем журнале, хотя я тоже не имею теперь ни времени, ни возможности говорить „много“, и хотя это „слово“ даже не мое, как вы сейчас увидите. На мою долю выпало счастье личного знакомства с Жорж Санд,—пожалуйста, не примите этого выражения за обычную фразу: кто мог видеть вблизи это редкое существо, тот действительно должен почитать себя счастливым. Я получил на днях письмо от одной француженки¹⁾, которая также коротко ее знала. Вот что стоит в этом письме:

„Последние слова нашего верного друга были— „Оставьте... зелень“ („Laissez... verdure“), т. е. не ставьте камня на могилу, пусть на ней растут травы²⁾. И ее воля будет уважена, на ее могиле будут расти одни дикие цветы. Я нахожу, что эти последние слова так трогательны, так знаменательны, так согласны с этой жизнью, уже столь давно отдавшейся всему хорошему и простому.

¹⁾ Мы полагаем, что если это была не верная помощница своей свекрови при ее жизни и верная ее памяти, так много сделавшая для нее после смерти француженка Лина Санд, жена Мориса, то просто под именем „француженки“ надо понимать—и с п а н к у, т. е. Полину Виардо. В письме к Флоберу по поводу смерти Ж. Санд Тургенев говорит: „Как она любила нас обоих, особенно вас, что и естественно, у нее было такое золотое сердце. Какое отсутствие всякого мелкого, мелочного, ложного чувства, какой честный мужчина это был и какая добрая женщина“. И эти слова тоже являются повторением слов Полины Виардо—их написал Луи Виардо еще в 40-х годах в письме к самой Ж. Санд.

²⁾ Это были не последние слова Жорж Санд, но их называют последними; это красивая легенда, вроде легенды о словах умирающего Гете.

Эта любовь природы, правды, [Тургенев, переводя здесь, сделал галлицизм, надо бы сказать по-русски: любовь к природе, к правде], это смирение пред нею, эта доброта, неистощимая, тихая, всегда ровная и всегда присущая. Ах, какое несчастье ее смерть. Немая тайна поглотила навсегда одно из лучших существ, когда-либо живших,—а мы не увидим более этого благородного лица; это золотое сердце более не бьется,—все это теперь засыпано землею. Сожаления о ней будут искренни, продолжительны, но я нахожу, что недостаточно говорят об ее доброте. Как ни редок гений, такая доброта еще реже. Но ей все-таки можно хотя несколько научиться,—а гению нет, а потому нужно говорить об ней, об этой доброте, прославлять ее, указывать на нее. Эта деятельная, живая доброта привлекала к Ж. Санд, закрепила за нею тех многочисленных друзей, которые пребыли ей неизменно-верными до конца и которые находились во всех слоях общества. Когда ее хоронили, один из крестьян окрестностей Ногана приблизился к могиле и, положив на нее венок, промолвил: „От имени крестьян Ногана, не от имени бедных; по ее милости здесь бедных не было“. А ведь сама Ж. Санд не была богата и, трудясь до последнего конца жизни, только сводила концы с концами“...

„Мне почти нечего прибавлять к этим строкам“,—говорит уже сам Тургенев,—„могу только поручиться за их совершенную правдивость. Когда, лет 8 тому назад, я впервые сблизился с Жорж Санд, восторженное удивление, которое она некогда возбуждала во мне, давно исчезло,—я уж не поклонялся ей; но невозможно было вступить в круг ее частной жизни и не сделаться ее поклонником в другом, быть-может, лучшем смысле. Всякий тот-

час чувствовал, что находится в присутствии без-
конечно щедрой, благоволящей природы, в которой
все эгоистическое давно и до тла было выжжено
неугасимым пламенем поэтического энтузиазма, ве-
рой в идеал; которой все человеческое было до-
ступно и дорого, от которой так и веяло помощью,
участием... И надо всем этим какой-то бессозна-
тельный ореол, что-то высокое, свободное, герои-
ческое... Поверьте мне, Жорж Санд одна—из наших
святынь; вы, конечно, поймете, что я хочу сказать
этим словом“...

Этим письмом, быть-может, на ряду с пред-
смертным письмом к Толстому, лучшим из турге-
невских всех писем, я и закончу настоящую статью
так как оно резюмирует и личное отношение Тур-
генева к Жорж Санд, и его взгляд на нее, как на
мыслителя и просветителя человечества.

В л а д . К а р е н и н .

Отец Тургенева в письмах к СЫНОВЬЯМ.

Недавно еще только начавшееся изучение композиционных и стилистических приемов И. С. Тургенева¹⁾, которое даст, несомненно, весьма ценные и интересные результаты, обнаруживает уже на первых порах своеобразные черты творчества этого писателя, заставляющие исследователя связывать чисто-внешний, формальный анализ с подробными, биографическими изысканиями²⁾. „Вся моя биография в моих произведениях“—отвечал Тургенев на попытки получить от него автобиографические сведения. Это не был уклончивый ответ на докучливые просьбы, он действительно постоянно черпал материал для своих сочинений в пережитом прошлом. Если творчество Тургенева сливалось с воспоминанием, то и, наоборот, процесс воспоминания был у него тесно связан с литературным творчеством. Слушатели его не могли быть уверены, предается ли он воспоминаниям или импровизирует³⁾.

¹⁾ Статья К. К. Истомина „Старая манера И. С. Тургенева“. „Изв. Русск. Отд. Ак. Наук“, 1913 г., т. 18, кн. 2—3; его же еще не напечатанная работа о „Рудине“; недавно вышедший сборник „Творчество Тургенева“, М. 1920 г.

²⁾ Статьи Ю. Н. Никольского о „Несчастной“ и „Кларе Милич“. Они должны появиться в Изв. Ак. Наук и в издании „Задруга“.

³⁾ См. воспоминания Островской в „Тургеневском Сборнике“ Тургеневского кружка под рук. Н. К. Пиксанова. Изд. „Огни“. Примеры импровизации собраны в статье Бродского в „Вестнике Воспитания“, 1916 г., № 6.

Литературные навыки и вкусы Тургенева слагались в его юности, в московский и первый петербургский периоды. Ряд рассказов, в которых биографический элемент преобладает, использует именно это время, но сведения о столь интересном для нас периоде особенно скудны ¹⁾.

Бедная фактическими данными, принужденная пользоваться часто слишком недостоверными воспоминаниями современников ²⁾, биографическая литература ограничивается здесь пересказом случайно сохранившихся анекдотов ³⁾ и совершенно некритичным вылавливанием из художественных произведений некоторых, якобы автобиографических, признаний.

Удачное выделение биографического элемента из рассказов возможно только по накоплению достаточного количества совершенно неопровержимых документальных данных. Несоблюдение этого неперемennого условия влечет за собой то, что при каждом опубликовании нового документа все ранее усвоенные представления рушатся как карточные домики.

В богатом архиве П. Я. Дашкова, к занятиям в котором я был любезно допущен, хранилась ⁴⁾ пачка писем отца И. С. Тургенева, Сергея Николаевича, к сыну, Николаю Сергеевичу, старшему брату писателя, от 1830 года, из Эмса и Франкфурта, и 1834 года из Москвы и частью из Петербурга. Этот материал проливает на мало знакомую нам фигуру отца писателя новый свет. Интересно

¹⁾ Н. Тихонравов, „Вестн. Евр.“, 1894, II, 716 и сл.

²⁾ Воспоминаний лиц, непосредственно наблюдавших семью Тургеневых, в этом периоде нет, Житова и Колбнтаева передают рассказы из вторых рук.

³⁾ Особенно грешит этим книга J. Monflet, „I. S. Tourguéneff à Spasskoé“, Pbg. 1899.

⁴⁾ Ныне эти письма, в числе других тургеневских бумаг, поступают в Пушкинский Дом.

сопоставить свидетельства писем с рассказом „Первая любовь“, считающимся, на основании собственного свидетельства И. С., особенно ценным в биографическом отношении¹⁾.

В этом рассказе автор прибегает к излюбленному приему пользования хронологической канвой собственной жизни.

Дело происходило летом 1833 года на подмосковной даче, герою было тогда 16 лет; он готовился к экзаменам для поступления в университет. Через пол-года осенью отец героя скончался в Петербурге, куда только-что переехал с семьей; через 4 года герой кончил университет. — Все это совпадает с нашими данными о жизни И. С. Тургенева. Есть, впрочем, и мелкие несовпадения — герой называет себя единственным сыном, мать героя на десять лет старше отца²⁾. Используя хронологию своей жизни для построения рассказа, Тургенев проявляет, однако, полную самостоятельность в обрисовке лиц и, вероятно, в психологическом обосновании действия.

Благодаря этому, новые данные сильно расходятся с нашими обычными представлениями о С. Н. Тургеневе, о котором мы, в конце концов, знаем только по „Первой любви“ и по недостоверным свидетельствам позднейших мемуаров³⁾.

Письма носят назидательный характер родительских поучений старшему сыну; поэтому личность С. Н. выразилась в них несколько односторонне, но зато они ярко показывают, как мы были несправедливы, считая, что отец не интересовался

¹⁾ Воспоминания Половцева в календаре „Царь-Колокол“, 1887 года, стр. 77.

²⁾ В. П. Лутопинова род. 30 дек. 1787 г., С. Н. Тургенев 15 декабря 1793.

³⁾ Ср. Н. М. Гутьяр, „И. С. Тургенев“, Юрьев, 1907, стр. 11—13.

воспитанием и образованием сыновей. С. Н. проявляет себя в письмах внимательным родителем, с любовью вникающим во все мелочи жизни детей, дружески и искренне подающим им советы. Вот несколько цитат, показывающих, что С. Н. относился к детям далеко не холодно, как это утверждает герой рассказа „Первая любовь“¹⁾).

С. Н. постоянно просит сына чаще писать и доставить тем удовольствие своим родителям: „Получение от тебя письма, милый мой друг и любезный сын Колянька, есть для всего нашего семейства праздник, а для меня истинно сердечное утешение, за какое благодарю тебя и прижимаю крепко к сердцу“²⁾ — „С каким полным удовольствием начинаю мое к тебе письмо, чтобы сказать нашу сердечную радость, какую мы все ощущаем при получении твоих писем: они для нас, а особенно для меня, есть предмет всех разговоров, и единственное утешение, не знаю, как из'явить тебе мою благодарность“³⁾).

Сам С. Н. писал через каждые 4—5 дней длиннейшие письма; он подробно расспрашивал о жизни детей и, особенно интересовался их занятиями:

„Ты несумненно знаешь, сколь занимает меня твое учение, а потому в своих журналах за первое поставишь писать мне об оном,— то есть не просто „много учителя довольны, стараюсь помнить твои приказания“, но напиши мне на каждый предмет особо, например.— в фран: немецко: языках, занимаешься тем то: в латынском №№, в русском

¹⁾ Ср. „Он почти не занимался моим воспитанием“ („Первая любовь“, гл. VIII) и „Он словно не замечал меня“ (Ibid.).

²⁾ Письмо 1834, 13 марта, Москва.

³⁾ 1834, 5 февраля, Москва. Орфография оригинала не соблюдается. Сохранены только характерные написания.

тото. Если что переводите;— в географии то же, в истории и русском языке мы „там то“ читаем; наконец, в математике мы то то проходим, и так по очереди все предметы, какие тебе преподают,— не забудь и музыку.— Да вспомнил я об вашем классе чистописания— неужели ты по сие время учишься чисто писать; в твои лета оным уже некогда заниматься. Да и я помню, что Иван Иванович хотел оным вас занять только на некоторое время— а настоящий оный класс должен был быть до рисования и чертежей.— То напиши мне подробно, что в оном успели“¹⁾.

Учителями русского языка Ивана Сергеевича были не одни только крепостные слуги. За орфографическими неправильностями писем С. Н. чувствуется, как и в письмах матери Тургенева, Варвары Петровны, большое чутье и знание родного языка, и С. Н. настаивает на занятиях им сыновей²⁾. „Вы все мне пишете по-французски или по-немецки— а за что пренебрегаете наш природный— если вы в оном очень слабы,— это меня очень удивляет. Пора! Пора! Уметь хорошо не только на словах, но на письме об'ясняться по руски— это необходимо.— И для того вы можете писать ваши журналы следующим образом— Понедель. по-францу: Вторник по-немецки:— Середа по-руски, и так далее в очередь“³⁾ „... прошу вас более писать по руски, а то я живо здесь совсем забуду рускую грамоту. Товарищ мой тоже по руски со мною мало говорит, хотя часто спорит о правилах языка, но мне мало верит, а потому положились на ваш суд, так как вы правила грамматики должны лучше

¹⁾ 1830, 25 августа, Франкфурт.

²⁾ Это обстоятельство лишает всяких оснований жалобы И. Иванова, И. С. Тургенев. Жизнь, личность, творчество, Нежин, 1914, стр. 11—16 (1)

³⁾ Ibid.

много знать.—Например, он уверяет, что надо говорить „я был в обедни, пошел в обедню“—я уверяю, что должно говорить, следовательно писать, я был у обедни, ходил к обедни. Пожалуста, Ваня, напиши мне об этом, а если сам не знаешь, то спроси у своего русского учителя.—А тебе, Колянька, препоручаю спросить у Дубле, как надобно сказать я играл на дворе, то есть *j'ai joué à la cour* или *sur la cour*, не найдется ли иное значение сих слов; вперед все наши здесь недоумения буду спрашивать вашего решения, вы верно уже безошибочно знаете, как должно правильно сказать—а мне приятно будет, что вы вместо лексикона, которого со мною нету, будете мне служить.—Да вот забыл еще, Ваня, спроси у русского учителя, правильно ли сказано, а вечером мы ехали верхом, говорю о прошедшем времени, мне кажется, что должно бы сказать мы ездили верхами“¹⁾.

В конце 1833 года С. Н. сам ездил из Москвы в Петербург определять сына в артиллерийское училище „на службу“, как он сам выражался²⁾.

Болезнь Варвары Петровны и предполагавшийся ее отъезд за-границу, отсроченный потом до весны, принудил его в конце января оставить сына и возвратиться в Москву; но в письмах он продолжал руководить его занятиями и поведением. Особенно заботился он об обучении и манежной верховой езде: „ты знаешь, что день моего отъезда ты не был на учении, беспокоит меня очень, чтобы тебе за оное не было выговора. Прошу мне написать истинную правду. Вчера, то есть в воскресенье

¹⁾ Не датиров. письмо 1830.

²⁾ На это ссылалась, в ответ на упреки сына, Н. С., Варвара Петровна. „Вы уже были помещены не мною отцом вашим, начальником семейства“. 1840, 25 июля, Москва. („Тургеневский Сборник“, стр. 47).

был твой первый урок у Весселя¹⁾, подробности коего мне очень интересно знать—а потому и жду твоего письма нетерпеливо.

Равно как идут уроки Кушакевича²⁾, уговорился ли он в цене и изготовил ли ты билеты. Познакомился ли ты с Шароном и уговорился ли об уроках фортификации—был ли у Ортенберга³⁾, отдал ли мое письмо, и как он принял, и что ты с ним говорил. Как идет твое фрунтовое ученье, и манежная езда⁴⁾.

И. С. Тургенев подчеркивал строгость отца к своему костюму⁵⁾ — заботы о внешности сына проявились и в письмах: „прикажи, чтобы к твоим сапогам с шпорами подделали повыше каблуки, а то ворочаться тебе трудно, да прикажи Яшке пришить стязку у шинели своей тонея, так что когда ты дома в ней ходишь без мундира можно было застегнуть опрятно—а то она очень широка“ и т. д., ряд мелких практических указаний⁶⁾. „... я к тебе приказывал отсюда, чтобы к празднику сшил себе тонкого сукна пару—но заказывал ли ты опую или нет я не знаю.—Досадно мне будет, если ты меня не понял и не будешь иметь тонкой пары для праздника“⁷⁾.

С. Н. касается и отношений сына к друзьям: „Мне очень приятно было видеть, что ты писал к Юрьеву, который мне показал твое письмо“⁸⁾.

¹⁾ Вессель, Е. Х., профессор артиллерии и инспектор Артиллерийского Училища, р. 1797 † 1853; о нем см. „Историческ. очерк образов. и развит. Артиллерийск. училища“, СПб. 1870.

²⁾ Кушакевич, А. Я., препод. матем. в Артиллер. уч., перев. „Курса чистой математики“, р. 1790 † 1865.

³⁾ Ортенберг, Я. Ф., р. 1806 † 1850, препод. артиллерии и тактики в Артиллерийском Училище.

⁴⁾ 1834, 14 февраля, Москва.

⁵⁾ „Мой отец всегда одевался очень изящно, своеобразно и просто“ („Первая любовь“, гл. V).

⁶⁾ Не датиров. письмо 1834 г.

⁷⁾ 1834, 14 апреля, Москва.

⁸⁾ 1834, 13 марта, Москва.

„Ты конечно из шутки в письме к Ренгольду писал—„Вы“ и очень церемонное письмо,—которое его поставило в тупик, он не знает, на каком тоне к тебе отвечать“¹⁾.

„Мне бы желалось, чтобы некоторые (товарищи) были с тобою на дружеской ноге, чтобы ходили к тебе... лишняя чашка чаю для друзей тебя не раззорит“²⁾.

К предстоящему празднику Пасхи С. Н. пространно наставляет сына в поведении, и указывает, какие ему необходимо сделать визиты, и как себя при этом держать: „Не знаю, как вы проведете первый день праздников, может быть будете в параде или чем другим подобным заняты—но на другой день или уже непременно на третий прошу тебя отправиться с визитами, для чего так и расположи своим временем и сверх того оденься хорошенько. Не ударь лицом в грязь. Отправься к генералу Гейсмару³⁾, живет он в конце Гороховой улицы не далеко от Адмиралтейской площади,—а в каком доме не помню, но там тебе скажет всякий будочник, где квартирует генерал-адъютант.—Когда он тебя примет, то смотри не острямись снять кивер и кланяться,—а явись к нему как следует в твоём звании. Здравие желаю Ваше превосходительство. Честь имею поздравить с праздником. После чего он верно тебя обласкает и позволит снять кивер—тогда ты можешь уже говорить с ним свободнее—от меня скажи ему мое почтение, и если я к нему не писал, то потому, что всякий день собираюсь сам к Вам ехать. Если ты его не застанешь дома, то узнай, в кото-

¹⁾ Ibid.

²⁾ 1834, 26 июля, Петербург.

³⁾ Гейсмар, бар. Ф. К., генерал-от-кавалерии, р. 1773 † 1848.

ром часу он бывает дома и на другой день непременно приходи. Я требую, чтобы ты у него был до моего приезда.—Да постарайся узнать, правда ли, что назначают корпусным командиром на место Потапова в Курск—это можешь даже у него спросить от меня. Здесь в Москве оное за верное рассказывают.—Сходи тем же порядком к генералу Гринвальду ¹⁾, которому ты тоже кланяйся от меня.—Да будучи в Кавалергардских казармах, спроси, где квартира полковника Ланского—и там от людей узнай, дома ли генерал Ланской (Павел Петрович ²⁾), старый мой товарищ и друг. Если он дома, то явись к нему—Честь имею поздравить с праздником. В разговоре же после скажи ему, что я тебе приказал явиться к нему, как к старому товарищу,—я уверен, что он тебя обласкает.—Если же тебе покажется, что не ловко тебе явиться к незнакомому, то оставь до моего приезда. Потом будь с визитами у Кривцова ³⁾—у Хитрово, Скуратовой, Нахимовых,—не считаю твоих начальников, не забудь и Ортенберга—к которому может быть я привезу Алешу ⁴⁾. А главное не забудь своих учителей, а более всех Весселя ⁵⁾.

В родительских выговорах, там и сям псппадающих в письмах, С. Н. особенно обрушивается на беспечность, недостаток настойчивости и лень сына—это были личные недостатки Н. С., но нетерпимость к ним характерна и для отца ⁶⁾. „... Если ты решительно не положишь себе за правило употребить твердую волю, стряхнуть с себя несносную твою

¹⁾ А. Н. Гринвальд, р. 1801 † 1858.

²⁾ Ланской, Пав. Петр., ген.-от-кавал. р. 1792 1873.

³⁾ Кривцов, П. Н., встречал эти годы С. Н. и сообщал о нем в письмах. Гершензон, „Декабрист Кривцов и его братья“, стр. 201.

⁴⁾ Товарищ Н. С., А. Теплов.

⁵⁾ 1834, 14 апреля, Москва.

⁶⁾ „Отец презирал робких людей“—(Ор. cit., гл. XXI).

лень, и убедиться в необходимости должной деятельности, которая уничтожит все могущие препятствия и затруднения, то ты никогда не достигнешь желанной цели: хотя ты от природы одарен хорошими способностями и многими отличными качествами души. Я часто тебя теперь сравниваю, когда ты помоложе, и для забавы с удочкой ходил ловить рыбу. Все усядутся и с терпением ловят рыбу — ты же все перемещаешься с места на место, отыскивая лучше, и наконец бросишь с негодованием удочку, что не ловится рыба. Такова будет твоя карьера службы, если ты не вооружишься должным терпением и деятельностью. В полке будешь ты несчастлив, если в тебе оправдается русская пословица — с чем в колыбельку, с тем и в могилку. Все оное предоставляю тебе, ибо ты один всем хорошим и дурным будешь пользоваться — Но пока ты еще так молод, что мой долг заставляет тебя поддерживать, чтобы ты не споткнулся¹⁾ — „ты всегда упираться там, где надобно было покорить какое-либо затруднение, сия несчастная черта твоего характера была с детства и к совершенному горю для меня у тебя и до сих пор осталась“²⁾.

Резкие суждения сына и его оригинальничанье вызывают неудовольствие отца: „Странность тогда только извинительна, когда она имеет свою выгодную сторону. Без одного условия всякое отчуждение от принятого общего правила и порядка есть совершенная глупость и нерящество“³⁾. — „Ты пишешь в своем письме касательно больных солдат. *Que la couronne fait des economies*, — верно ты не подумавши написал, что строго тебе

¹⁾ Не дат. письмо 1834.

²⁾ Не дат. письмо 1834.

³⁾ 1834, 29 мая, Москва.

запрещено, не думавши говорить не позволено, а писать есть вдвое глупость или легкомыслие“¹⁾).

Не нужно думать, что письма переполнены скучными укорами, не достигавшими своей педагогической цели. С. Н. умел лукаво скрывать свои наставления и выговоры (см., напр., выше, где он исправляет ошибки сыновей в русском языке). Таковы его замаскированные религиозные наставления: „Я уверен, что ты не забудешь исполнить христианскую свою обязанность, уведоь только, когда ты располагаешь говеть и при какой церкви будешь у службы“²⁾, „почему ты мне не отвечаешь о твоём исполнении христианской обязанности. Мне бы очень желалось знать, когда и где ты располагаешь говеть“³⁾).

Нередко С. Н. ободрял в письмах падавшего духом сына: „Пишешь ты, что Вадковский в своих разговорах напугал тебя строгостью Ганичева к юнкерам по службе. Будь мой друг истинно убежден, что строгость по службе страшна и нетерпима только нерадивым и избалованным детям, как к несчастью и всегда, не только по службе, но и во всяких случаях хотят без труда пользоваться заслугами, а потому всегда ропщут на все и всеми недовольны—им все кажется, что они более стоят, нежели их оценивают и сею пагубною мыслию утешают свое необузданное самолюбие, которое по временам делает их ни к чему не способными, и недовольными самих собой. А так как ты вовсе не такой, то ты не должен бояться строгости по службе“⁴⁾).

1) Не дат. письмо 1834.

2) 1834, 31 марта, Москва.

3) 1834, 14 апреля, Москва.

4) 1834, 26 февраля, Москва.

Уже в приведенных отрывках вырисовываются некоторые черты мировоззрения и характера С. Н. Тургенева—яснее они выдаются в положительных наставлениях—„я так в тебе уверен, что несумненно полагаю к возвращению моему найти в тебе вполне то, чего мы с таким пожертвованием искали, то есть, что будешь не беспечный и рассеянный Колинька, но милый и занимательный юноша, по своему приличному поведению, любезности и по успехам в науках—*Vous serez comme disent les français un jeune homme comme il faut, interessant et promettent beaucoup pour l'avenir.* Одна сия мысль уже меня больного в моем одиночестве, быв так далеко от вас, сердечно утешает“¹⁾.—„Самим Богом прошу тебя, не унывай, будь прилежен к службе и стряхни с себя пунический (Sic!) страх. К начальникам своим будь почтителен, но не менее того, не думай, что тебя притесняют без причин—будь смел, ибо ты своим поведением стоишь, чтобы тебя отличали, с товарищами будь обходителен, не показывай, что ты их пренебрегаешь за дурное их поведение, будь по наружности их приятель, и через то избавишься от всех с их стороны неприятностей“²⁾.

В заключение приведу несколько отрывков, касающихся непосредственно Ивана Сергеевича и исправляющих несколько запутанную хронологию московского периода жизни Тургенева.

С. Н. писал письма и И. С. (имеется одно письмо, адресованное всем трем сыновьям), но эти письма до нас не дошли, сохранности наших писем мы обязаны исключительно аккуратности Н. С.

„... скажи Ване, моему любезному дружечку, что я им очень доволен, на будущей почте буду к нему

¹⁾ 1830, 1 / 12 августа, Эмс.

²⁾ 1834, 26 июля, Петербург.

писать“¹⁾. „К Ваничке на сей почте особо не пишу, впрочем вы не должны на сей счет делиться, мои письма относятся всегда на ваше общее лицо“²⁾.

„Ваню... одного оставить нельзя, а у Краузе по некоторым отношениям нельзя. Итак насчет его ничего определенного не знаю“³⁾.

„Ваню на время поместил у Краузе“⁴⁾, „много дел встретилось, кои требуют моего пребывания здесь и главное устроить занятия Ванички, который будет жить у Краузе“⁵⁾. „Ваня у Краузе“⁶⁾. „Со вчерашнего дня начались экзамены Вани, итак теперь наверное могу сказать, что через две недели мы выедем в Питер“⁷⁾, „посылаю (в Красное, в лагери к Н. С.) одного Ваню“⁸⁾. „Приезжай сюда с Ваничкой, я завтра очень рано отправляюсь на пароход“⁹⁾.

Приведенные отрывки из интереснейших писем С. Н., безусловно достойных полного опубликования, рисуют нам в новом свете симпатичную фигуру отца писателя. В некоторых чертах он сливается для нас с образом отца героя рассказа „Первая Любовь“—как и тот, он энергичен, умен и обходителен, но мы раз навсегда должны отказаться от мысли, что Иваном Сергеевичем отец не занимался, что он научился русскому языку только от крепостных дядек. С. Н. обладал незаурядным педагогическим талантом и несомненно благотворно влиял на обоих сыновей.

М. К л е м а н.

1) 1830, 1 / 12 августа, Эмс.

2) 1830, 25 августа, Франкфурт.

3) 1834, 5 февраля, Москва.

4) 1834, 19 февраля, Москва.

5) 1834, 31 марта, Москва.

6) Не дат. письмо 1834 г.

7) 1834, 29 мая, Москва. Дело идет об университетских экзаменах И. С.

8) Не дат. письмо. Лето 1834.

9) Ibid.

Письма И. С. Тургенева к Г. О. Гинцбургу.

Барон Гораций Осипович Гинцбург (род. в 1833 г., сконч. в 1909 г. в С.-Петербурге), один из крупнейших и талантливейших наших финансистов, более известен у нас, как выдающийся общественный деятель и филантроп, пользовавшийся в свое время широкою популярностью. В течение сорока лет он являлся горячим защитником правового положения евреев перед русским правительством и не мало забот приложил к тому, чтобы содействовать культурному подъему народности, из которой он происходил. Но общественная деятельность и филантропия Гинцбурга не ограничивались исключительно только еврейством. Он всегда чуток был и к нуждам русских вообще, к какой бы национальности они ни принадлежали. Особенно близки были его душе наука и искусство. На этой почве, главным образом, он сблизился с М. М. Стасюлевичем, К. Д. Кавелиным, В. Д. Спасовичем, А. Н. Пыпиным, И. С. Тургеневым, М. Е. Салтыковым-Щедриным, И. А. Гончаровым, В. С. Соловьевым, В. В. Стасовым, А. П. Боголюбовым, братьями Рубинштейнами, К. Ю. Давыдовым, Л. С. Ауэром и др. Вращаясь много лет в широком кругу людей науки и искусства, государственных и общественных деятелей, Гинцбург собрал у себя много драгоценных доку-

ментов, к которым он, по свидетельству одного из биографов, относился с особою любовью. Незначительная часть из этих документов составляет в настоящее время собственность 1-го отделения 4-й секции Государственного фонда, где и хранятся подлинники печатаемых ниже писем И. С. Тургенева ¹⁾).

I

Буживаль. Villa „Les Frères“.
4/2 Октября 81.

Любезнѣйшій другъ,

Я вчера получилъ изъ Вашей конторы 30.000 фр. и душевно благодарю Васъ за услугу.

Г-жа Віардо проситъ меня освѣдомиться у Васъ, дѣйствительно ли Вы принимаете участіе въ одной молодой пѣвицѣ, ея ученицѣ—д-цѣ Эббанъ (Ebban), которая ссылается на Васъ.—Черкните слово въ отвѣтъ.

Дружески жму Вашу руку и остаюсь
искренно Вамъ преданный

Ив. Тургеневъ.

II

(Seine et Oise). Boujival. Villa „Les Frères“.
Понедѣльникъ, 10-го Окт. 81. 28 Сент.

Любезнѣйшій другъ,

Вчера я получилъ Вашу телеграмму и завтра заѣду въ Вашу контору за деньгами. Вы мнѣ оказали великую услугу, за которую я Вамъ сердечно благо-

¹⁾ О Г. О. Гинцбурге см. „Еврейская энциклопедія“, т. VI; газ. „Речь“, 1909 г., 18 февраля, и статья Г. Б. Слиозберга: „Барон Г. О. Гинцбург и правовое положение евреев“ („Пережитое“, сборник, СПб. 1910).

даренъ.—Вотъ въ чемъ дѣло. Несчастливая стеклянная фабрика моего зятя все еще не продана и не сдана—и если долгъ работникамъ и пр. не будетъ немедленно заплаченъ—то придется обанкротиться или ликвидировать. Моя дочь съ воплемъ и слезами обратилась ко мнѣ, прося меня дать ей въ руки тѣ 30.000 фр.—которыми долженъ былъ пополниться капиталъ, принадлежащій ей дѣтямъ, и процентами съ котораго они будутъ жить и получать воспитание—90000 уже мною внесены и уплочены; они представляютъ 3600 фр. процентовъ; недоставало 1400 фр., такъ какъ я обѣщаль моей дочери доходъ въ 5000 фр. и на это назначалась та сумма въ 30000 фр., которая должна была поступить въ теченіи нынѣшней зимы, вслѣдствіе продажи другаго моего имѣнія.—Сначала я отказывался съ твердостью, предвидя, что и эти 30000 фр. будутъ поглощены той же самой ненасытной бездной—и требовалъ, если не банкротства, то немедленной ликвидаціи; но дѣловые люди, съ которыми я совѣтовался, доказали мнѣ, что эти богомерзкія хрустальныя и стеклянныя фабрики находятся совершенно въ другихъ условіяхъ, чѣмъ всѣ прочія промышленныя заведенія; что если погасить ихъ, то они тотчасъ теряютъ всякую цѣну—и никакихъ уже денегъ изъ ихъ продажи выручить нельзя—а потому ликвидація немислима. Я кончилъ тѣмъ, что уступилъ, но объявилъ моей дочери, что это она дѣлаеть затрату изъ собственнаго капитала; что я уже больше копееки не дамъ

(да и не изъ чего)—и чтобы она напередъ знала, что вмѣсто 5000 фр. пенсіону она будетъ получать 3600 фр. Ваша любезная готовность ссудить мнѣ эту сумму (разумѣется, подъ залогъ моихъ харьковскихъ облигацій). Вы вывели меня и дочь мою изъ тяжелаго положенія;—если же черезъ три мѣсяца опять возобновится это нелѣпое положеніе, то я заранѣе умываю руки—и пусть они дѣлаютъ, что хотятъ.

Повторяю еще разъ мое сердечное спасибо и остаюсь навсегда

искренно Вамъ преданный

Ив. Тургеневъ.

III

50, Rue de Douai Paris.

20/8-го марта 82.

Любезнѣйшій другъ, Горацій Осиповичъ,

Обращаюсь къ Вамъ сегодня съ порученіем и прозьбою.

Порученіе состоитъ въ слѣдующемъ: Комитетъ нашего общества ¹⁾ проситъ Васъ распорядиться покупкою на капиталъ его, находящійся въ Вашемъ банкѣ: 30 штукъ—Credit foncier mutuel de Russie и 2 билета Внутренняго Займа съ выигрышами—одинъ 1864 и одинъ 1866 г.—за что Комитетъ ударитъ Вамъ челомъ.

А въ чемъ состоитъ прозьба—Вы усмотрите изъ прилагаемаго письма моего молодого пріятеля

¹⁾ Общества взаимнаго вспоможенія и благотворительности русскихъ художниковъ въ Парижѣ.

Шполянского ¹⁾).—Онъ вполне достойный молодой человекъ и заслуживаетъ Вашего великодушнаго участія въ его судьбѣ.—Позвольте и мнѣ попросить за него. Будьте такъ добры—дайте знать Ваше рѣшеніе на счетъ и порученія, и прозбы.

Мы здѣсь ждали, ждали—такъ и не дождались.—Оказывается, что я Васъ еще застану въ Петербургѣ (въ Апрѣлѣ), заранѣе радуюсь нашему свиданію—кланяюсь дружески всѣмъ Вашимъ и крѣпко жму Вашу руку.

Преданный Вамъ

Ив. Тургеневъ.

IV

Парижъ. 50, Rue Douai.
1-го Мая 1882.

Любезный другъ, Горацій Осиповичъ,

Сейчасъ получилъ Ваше письмо, въ которомъ снова съ радостью призналъ выраженіе дружескаго расположенія, которое Вы ко мнѣ питаете и за которое я искренне благодаренъ.—Харьковскія облигаціи такъ же получилъ и уже передалъ въ руки моихъ друзей Віардо, которымъ онѣ будутъ номинально принадлежать и процентами съ которыхъ будутъ питаться моя дочь и ея дѣти, такъ какъ все ихъ прежнее имущество безвозвратно погибло.—Здоровье мое медленно поправляется, хотя я все еще лежу. Скверно то, что эта вовсе

¹⁾ Сравни „М. М. Стасюлевичъ и его современники“, т. III, стр. 202—204.

не опасная и даже не мучительная болѣзнь плохо поддается медицинѣ—и что никто изъ докторовъ (а меня, кромѣ Шарко, изслѣдовалъ Бѣлоголовый)—не можетъ съ увѣренностью сказать, какъ она прекратится—можетъ быть черезъ недѣлю, а можетъ быть черезъ полъ-года. Скучно мнѣ это, разумѣется, но я не унываю и не падаю духомъ, что Вамъ вѣроятно засвидѣтельствуетъ П. В. Анненковъ, котораго я сюда выписалъ и который черезъ нѣсколько дней выѣзжаетъ въ Петербургъ.—Онъ повезетъ съ собою цѣлый мною придуманный планъ окончательной, т. е. безсрочной продажи моихъ сочиненій—который подвергнетъ обсужденію Вашему, М. М. Стасюлевича, моего друга давняго адвоката Самарскаго-Быховца—и на чемъ Вы рѣшите, на томъ дѣло и состоится ¹⁾).

Сверхъ того есть еще у меня къ Вамъ прозѣба.—Вамъ на дняхъ завезетъ мой управляющій Н. А. Щепкинъ 20.000 (двадцать тысячъ) рублей, которые прошу Васъ употребить самымъ для нихъ выгоднымъ образом, покупкою акцій, облигацій или другихъ бумагъ.—Все это я хотѣлъ совершить самолично; но при неизвѣстности, когда мнѣ можно будетъ приѣхать въ Россію—я не могу передать это дѣло в болѣе умѣлыя и симпатичныя руки.

Вы мнѣ позволили не говорить о нашихъ внутреннихъ дѣлахъ... что очень стыдно и больно...

¹⁾ Сравн. „Первое собраніе писемъ И. С. Тургенева“. СПб. 1884. Стр. 422—424, 437—438, 447—448, 450, 451—452, 453—454.

Послѣ того, что произошло въ Балтѣ ¹⁾),—право даже совѣстно быть Русскимъ въ глазахъ Европейца.

Однако довольно.

Кланяюсь всѣмъ Вашимъ и дружески жму Вам руку.

Душевно Вамъ преданный

Ив. Тургеневъ.

Кроме интересов литературных, И. С. Тургенева с Г. О. Гинцбургом, без всякого сомнения, связывали и отзывчивость обоих к человеческому горю, а также и глубокий интерес того и другого к Обществу взаимного вспоможения и благотворительности русских художников в Париже. Упомянутый в письмах Шполянский был один из тех многих нуждающихся, о которых так горячо всю жизнь заботился Тургенев. Об этом „молодом“ своем „приятеле“ писал он в мае 1882 г. М. М. Стасюлевичу, признаваясь, что он „солгал“ для того, чтобы спасти умирающего от голода, т. е., иначе говоря, оказал последнему денежную помощь, уверив его, что это гонорар за статью, которая на самом деле не была еще принята редакцией. При этом Тургенев „умолял“ Стасюлевича „не выдавать“ его.

К Обществу русских художников в Париже, которое своим существованием обязано было Тургеневу, он до конца своих дней относился с необыкновенной нежностью и заботливостью. Для Гинцбурга же Общество было дорого уже по одному тому, что в состав его некоторое время входил его сын Марк Горациевич, подававший, как художник, большие надежды, но, к сожалению,

¹⁾ Еврейскій погромъ.

рано похищенный смертью ¹⁾). В большом и роскошном ателье, устроенном Горацием Осиповичем для своего сына, обыкновенно происходили собрания Общества, которому после смерти Марка Горациевича и было пожертвована его прекрасная художественная библиотека.

Связывали, разумеется, Тургенева с Гинцбургом и противоположности в их характерах: в денежных отношениях, в делах практических первый из них был человеком не от мира сего, а другой, наоборот, опытным и испытанным дельцом, не раз выручавшим из материальных затруднений своего всегда слишком идеалистически настроенного приятеля.

Предлагаемые письма Тургенева пополняют наши сведения о тех тяжелых испытаниях, какие выпали на долю его, когда ему приходилось прилагать все усилия к тому, чтобы спасти от конечного разорения семью своей дочери, по мужу Брюэр ²⁾); рисуют отношения его к своему здоровью в то время, когда роковая болезнь стала принимать уже угрожающие размеры, и смерть быстрыми шагами приближалась к нему, и лишний раз подчеркивает его взгляды на еврейский вопрос, который, как мы знаем из других источников ³⁾, сильно волновал его душу, и на который он смотрел своеобразно, полагая, что этот тяжелый вопрос разрешен может быть только в связи с другими основными для России вопросами.

С. ПЕРЕСЕЛЕНКОВ.

¹⁾ „Марк Матвеевич Антокольский. Его жизнь, творения, письма и статьи“. Под редакцией В. В. Сума. СПб. 1905. Стр. 381—382.

²⁾ Сравни. Н. М. Гутьяр, „Иван Сергеевич Тургенев“. Юрьев. 1907. Стр. 128—129.

³⁾ „Марк Матвеевич Антокольский“, стр. 1008. „Первое собрание писем И. С. Тургенева“, стр. 435—436. Павловский, „Воспоминания об И. С. Тургеневе“ („Русский Курьер“, 1884 г., № 164).

A decorative flourish consisting of elegant, symmetrical scrollwork and flourishes that frames the text.

**ИЗ СОБРАНИЙ
ПУШКИНСКОГО
ДОМА**

I.

Из воспоминаний Е. М. Θεоктистова.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Автор настоящих воспоминаний о Тургеневе— Евгений Михайлович Θεоктистов; кандидат московского университета (вып. 1851 г.), ученик и почитатель Грановского, Кудрявцева и других светил тогдашней науки, товарищ историка Бестужева-Рюмина, он со студенческих лет вращался в литературных и ученых кругах Москвы, где прошел и гимназический курс. По выражению Л. Н. Майкова, написавшего его некролог-биографию и давшего живую его характеристику, Θεоктистов „обладал счастливою натурой“: в нем, уже в молодые годы, „не было ни излишней робости, ни чрезмерной самоуверенности; он умел найтись с людьми разных возрастов без особого смущения и в то же время не впадал в неуместную развязность; это облегчало ему возможность сближения не только со сверстниками или вообще с лицами скромного общественного положения, но и с представителями старших поколений, уже занявшими в обществе более или менее видное место; а кто узнавал Θεоктистова хоть немного, тот не мог не отдавать справедливости его трезвому, ясному уму и его чуткости к высшим интересам, не мог не ценить в нем чрез-

вычайно занимательного и приятного собеседника“... Благодаря таким личным свойствам, Θεоктистов везде был желанным гостем, и знакомства и связи его быстро умножались; этому содействовало, между прочим, и то обстоятельство, что Θεоктистов, еще будучи студентом, поступил учителем в дом графини Е. В. Салиас (вскоре ставшей известною писательницей—под псевдонимом Евгении Тур), сестры драматурга, впоследствии почетного академика, А. В. Сухова-Кобылина: дом графини постоянно посещали, кроме названных выше Грановского и Кудрявцева, Катков, Галахов, В. П. Боткин, наконец—Тургенев, бывавший у Салиас во время своих приездов в Москву,—особенно в зиму 1850—1851 гг. „В это-то время,—говорит Л. Н. Майков,—Θεоктистов коротко сблизился с ним и с В. П. Боткиным, а затем, когда автор „Записок Охотника“ уехал,—между ним и Евгением Михайловичем завязалась переписка, особенно деятельно поддерживаемая со стороны последнего; Θεоктистов сообщал Тургеневу московские литературные новости, а также писал ему о своих занятиях, намерениях и планах“¹⁾).

Переписка эта в печати не появлялась²⁾, и среди бумаг архива Е. М. Θεоктистова, поступивших в Пушкинский Дом, писем Тургенева—увы!—не оказалось, как не оказалось и писем Θεоктистова в той части архива Тургенева, которая ныне также составляет собственность Пушкинского Дома; только из печатаемых ниже Воспоминаний Θεоктистова мы можем, по отрывкам из писем Тургенева, судить о тоне, в котором велась эта корреспонденция,—и

¹⁾ „Журн. Мин. Нар. Просв.“ 1898 г., кн. 8, и отд. отт., СПб. 1898.

²⁾ Несколько извлечений из писем Θεоктистова к Тургеневу, 1850-х гг., помещено в указанной статье Л. Н. Майкова (отд. отт. стр. 8, 11 и 13).

должны посетовать, что она находится еще под спудом; лишь одно письмо Тургенева к Θεоктистову, попавшее в архивное дело о Тургеневе,—от 26-го февраля 1852 г.,—было опубликовано в статье барона Н. В. Дризена об „Аресте и ссылке И. С. Тургенева“,—аресте, состоявшемся в апреле 1852 г., за статью Тургенева по поводу смерти Гоголя.

Таким образом, то, что было ранее известно об отношениях Θεоктистова к Тургеневу, заставляло очень жалеть, что Θεоктистов не сообщил в печати своих воспоминаний о знакомстве и переписке с великим писателем; поэтому нам было очень радостно найти среди бумаг и дневников Θεоктистова, поступивших в Пушкинский Дом, отдельный очерк, посвященный специально рассказу о Тургеневе и, попутно, о Боткине, с которым, как выше было указано, Θεоктистов познакомился около того же времени, т. е. в 1850 г. Воспоминания Θεоктистова представляют несомненную историко-литературную ценность и значение, хотя к ним и следует подходить с большою осторожностью: всякие „воспоминания“ носят на себе, в той или иной степени, отражение личности их автора,—в лучшем случае они субъективны, в худшем—пристрастны, и, отдаленные тем или иным пространством времени от эпохи, которую описывают или о которой повествуют, носят на себе более или менее яркое и ясное отражение той перемены—если не взглядов, то настроений,—которую приходится переживать каждому мыслящему человеку на пространстве прохождения жизненного пути. На Воспоминаниях Θεоктистова (они писаны в 1887 году, когда автору было около 60 лет) такая перемена сказалась, к сожалению, слишком заметно и—не в пользу автора: впечатления, полученные им в молодые годы, согре-

тые молодыми восприятиями и надеждами, преломились сквозь призму долгой и довольно сложной жизненной и служебной карьеры, которую ему пришлось проделать,—и в результате местами получилось некоторое, столь свойственное преклонным летам недовольство настоящим и прошедшим, осуждение того, что прежде казалось таким симпатичным, близким, дорогим: картина, через дымку скептицизма и житейского опыта, стала являться умственному взору автора иному, вызывать в нем не только сомнение, но и прямое осуждение... В такой тон Θεоктистов впал тем более легко, что в Воспоминаниях своих он коснулся Тургенева не как писателя, всегда высокого и безусловно честного, но лишь как человека,—между тем как давно известно, что Тургеневу, как и Пушкину, „ничто человеческое не было чуждо“...

Опубликовываемые с такими необходимыми оговорками и поправками¹⁾, воспоминания Θεоктистова не нуждаются в больших комментариях, ибо имена главных действующих лиц — Тургенева и Василия Петровича Боткина²⁾—говорят за себя сами; имена других упоминаемых в них персонажей пояснены полутно.

О самом Θεоктистове следует еще сказать, что он, по окончании университетского курса в Москве, продолжал быть гувернером в семье графини Салиас, затем подвергся некоторым неприятностям за участие в упомянутом выше деле Тургенева по поводу статьи его о смерти Гоголя, осенью 1853 г. получил возможность возвратиться в Москву, был причислен к канцелярии московского губернатора и назначен препо-

¹⁾ Мы печатаем их почти в полном виде, выпустив лишь несколько мест, особенно неприятных и несправедливых. Места пропусков обозначены многоточием.

²⁾ О взаимных отношениях Тургенева и Боткина см. отдельный этюд Н. М. Гутьера в его книге „И. С. Тургенев“, Юрьев. 1907, стр. 285—300.

давателем истории в Александровском сиротском кадетском Корпусе, с конца 1856 г. провел более 1½ лет за границей, в Италии и Франции, откуда писал постоянные корреспонденции в „Московские Ведомости“ Каткова; с осени 1858 г. возобновил свою преподавательскую деятельность в Александровском сиротском Корпусе, с 1861 г. принял ближайшее участие в ведении основанного графиней Салиас журнала „Русская Речь“, после прекращения которого переселился, в 1862 г., в Петербург, где работал в „Отечественных Записках“, а с 1863 г. определился в число чиновников особых поручений при министре народного просвещения — сперва А. В. Головнине, затем графе Д. А. Толстом; тогда же начал он чтение лекций по всеобщей истории в Николаевской Академии Генерального Штаба, а в июне 1871 г. был назначен на должность редактора „Журнала Министерства Народного Просвещения“, — должность, как нельзя более для него подходящую: „основательное образование, опытность в журнальном деле, критический такт — все эти условия, говорит Л. Н. Майков, счастливым образом соединились в личности Евгения Михайловича“ и „обеспечивали журналу... прочное сохранение приобретенного положения“. Редактором его Феоктистов оставался до 1883 года, когда граф Толстой, став министром внутренних дел, пригласил его занять пост начальника Главного Управления по делам печати. Эти, по выражению Майкова, „трудные и ответственные обязанности он нес в течение 13 слишком лет, и притом исполнял их не только с неусыпной бдительностью, но и с явным, определенным взглядом разумного и просвещенного человека, отчетливо понимающего обстоятельства и требования времени: Русская наука, особенно

историческая, может по справедливости признать, что ее исследования не встречали стеснений в период цензурного управления Е. М. Феоктистова, и что область ее изысканий могла быть даже значительно расширена в это время". Нечего, впрочем, и говорить, что, с точки зрения желаний и чаяний либеральной части русского общества, консерватор-Феоктистов, занимая одиозный пост верховного цензора, не мог привлекать к себе симпатий официально, служебную стороною своей деятельности... В мае 1896 г. он был назначен сенатором и вскоре скончался—16-го июня 1898 г., 70 лет от роду.

Л. Н. Майков заключает свой некролог Феоктистова сообщением о том, что Евгений Михайлович посвящал „немногие досуги своих зрелых лет... составлению своих воспоминаний. Он был большой любитель мемуарной литературы и еще более 10 лет тому назад говорил нам, что намерен писать свои записки; не знаем, до какой эпохи доведено его повествование, но слышали от автора, что читанные им отрывки были выслушаны с интересом. Не можем в этом сомневаться, припоминая занимательность и тонкий юмор его рассказов. Он обладал большою наблюдательностью и прекрасною памятью, а по обстоятельствам своей жизни находился в сношениях с замечательными людьми из разных слоев нашего общества. Все это дает право думать, что воспоминания Е. М. Феоктистова, даже и в своем неоконченном виде, составят дорогое приобретение для нашей литературы“.

Печатаемая ниже часть этих воспоминаний, посвященная рассказу о Тургеневе, служит подтверждением предположения Л. Н. Майкова: она прочтется с интересом и в тургеневской литературе займет подобающее место.

Б. Модзалевский.

Въ 1850 году впервые я увидалъ И. С. Тургенева у графини Салиасъ, къ которой привезъ его В. П. Боткинъ. Онъ только-что вернулся изъ-за границы, гдѣ былъ свидѣтелемъ февральской революціи и послѣдовавшихъ за нею событій¹⁾. Можно себѣ представить, какъ были интересны его рассказы, особенно для людей, примыкавшихъ къ кружку Грановскаго, — для людей, которые съ горячимъ участіемъ относились ко всему, что происходило тогда во Франціи и отражалось въ Европѣ. А Тургеневъ умѣлъ рассказывать, какъ никто. Недаромъ П. В. Анненковъ называлъ его „сиреной“: блестящее остроуміе, умѣнье дѣлать мѣткія характеристики лицъ, юморъ—всѣмъ этимъ обладалъ онъ въ высшей степени, а если присоединить сюда обширное образованіе и оригинальность сужденій, то, конечно, Тургеневъ былъ самымъ очаровательнымъ собесѣдникомъ, какого мнѣ когда-либо приходилось встрѣтить. По натурѣ своей я былъ расположенъ увлекаться людьми; съ теченіемъ времени это свойство моего характера значительно притупилось, но въ молодости оно вполнѣ владѣло мной. Не удивительно поэтому, что я поддался какъ нельзя болѣе обаянію Тургенева.

Не помню, по какимъ причинамъ въ слѣдующемъ году провелъ онъ нѣсколько мѣсяцевъ сряду въ

¹⁾ Ср. в „Письмахъ Тургенева къ Виардо“, изд. Гальперинъ-Каминскаго (М. 1900), письмо от 15-го мая 1848 г. (стр. 46—52). *В. М.*

Москвѣ, гдѣ жилъ на Остоженкѣ, въ домѣ (или квартирѣ) своего брата Николая Сергѣевича. Полагаю, что какія-нибудь особыя соображенія побудили его къ этому, потому что Москва была ему вообще не симпатична. Въ обществѣ онъ показывался мало, да и чѣмъ могло бы оно при своей пустотѣ и ничтожествѣ привлекать его? Что касается небольшихъ кружковъ, въ которыхъ сосредоточивалась умственная жизнь первопрестольной столицы, то съ однимъ изъ нихъ — съ кружкомъ славянофиловъ — у него не было ничего общаго. Впрочемъ онъ посѣщалъ иногда семейство Аксаковыхъ; не разъ встрѣчалъ я у него по вечерамъ Константина Аксакова, вступавшаго съ нимъ въ ожесточенные споры по вопросамъ, раздѣлявшимъ тогда наше образованное общество на два враждебныхъ лагеря. Въ кружкѣ Грановскаго Тургеневъ былъ обычнымъ гостемъ, но и тутъ онъ чувствовалъ себя не совсѣмъ на мѣстѣ. Встрѣчали его тамъ, повидимому, очень радушно, дружили съ нимъ, но въ сущности смотрѣли на него косо. Для меня не подлежало это ни малѣйшему сомнѣнію. Грановскій высказался предо мной очень откровенно на счетъ Тургенева. Отдавая справедливость его необычайной талантливости и уму, онъ находилъ, что это натура дряблая, лишенная солидныхъ качествъ. По словамъ его, никто такъ вѣрно не опредѣлилъ Тургенева, какъ А. Ѳ. Тютчева (вышедшая впоследствии замужъ за И. С. Аксакова), которая будто бы однажды сказала ему въ глаза: „*Vous n'avez pas d'épine dorsale au moral*“¹⁾). Множество анекдотовъ объ Иванѣ Сергѣевичѣ ходило въ кружкѣ Грановскаго. Когда m-me Вiардо появилась на Пе-

¹⁾ Т.-е.: „Вы — беспозвоночный в нравственном отношеніи“. *В. М.*

тербургской сценѣ и сводила съ ума публику, то Кетчеръ ¹⁾, жившій тогда въ Петербургѣ, и его друзья абонировали ложу гдѣ-то чуть ли не подъ райкомъ; конечно, это было черезчуръ высоко, но Тургеневу приходилось завидовать даже имъ: онъ сблизился съ знаменитой пѣвицей, былъ однимъ изъ habitués ея салона, а между тѣмъ, какъ нарочно, въ это время находился въ крайней нуждѣ, потому что его мать, поссорившись съ нимъ, не высылала ему ни копейки; очень часто не хватало у него денегъ даже для того, чтобы купить себѣ билетъ,— и тогда онъ отправлялся въ ложу Кетчера, но въ антрактахъ непременно спѣшилъ внизъ, чтобы показаться лицамъ, съ которыми привыкъ встрѣчаться у m-me Виардо. Одинъ изъ этихъ господъ обратился къ нему съ вопросомъ: „Съ кѣмъ это вы, Тургеневъ, сидите въ верхнемъ ярусѣ?“— „Сказать вамъ по правдѣ,—отвѣчалъ сконфуженный Иванъ Сергѣевичъ,—это нанятые мною клакеры; нельзя безъ этого, нашу публику надо непременно подгрѣвать“... На бѣду случился при этомъ разговорѣ кто-то изъ знакомыхъ Кетчера, который и поспѣшилъ сообщить ему, какая ему навязана пріятная роль: Кетчеръ пришелъ въ неописанную ярость.

Можно было бы привести не мало другихъ анекдотовъ въ томъ же родѣ, свидѣтельствовавшихъ во всякомъ случаѣ о томъ, что для кружка Грановскаго Тургеневъ отнюдь не былъ героемъ. Признаюсь, они глубоко меня огорчали; мнѣ было неприятно это разоблаченіе мелочности и слабостей человѣка, внушавшаго мнѣ непреодолимая симпатіи. Самъ Тургеневъ сознавалъ очень хорошо, что кружокъ его недолюбливалъ, и мстилъ ему за это ѣдкими

¹⁾ Николай Христофоровичъ Кетчеръ (1807 † 1886), пріятель Белинского и другихъ „людей 40-хъ годов“, известный переводчикъ Шекспира. *Б. Ж.*

сарказмами. Никогда, впрочемъ, не вырывалось у него рѣзкаго слова о Грановскомъ,—вообще я не встрѣчалъ ни одного человѣка, который позволилъ бы себѣ неуважительный или даже сколько-нибудь шуточный отзывъ объ этой свѣтлой личности,—но щедро расточалъ онъ остроты противъ всѣхъ, окружавшихъ его, и надо сказать, что остроты эти были очень мѣткі. „Неудавшееся стихотвореніе Уланда“—можно ли было злѣе и—увы!—вѣрнѣе обрисовать фигуру жены Грановскаго? А портретъ Фролова, начертанный въ „Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда“: „отставной поручикъ, удрученный жаждой знанія, весьма, впрочемъ, тугой на пониманіе и не одаренный даромъ слова“. Конечно, Тургеневъ никому не говорилъ, кого онъ имѣлъ тутъ въ виду, да и не было въ томъ нужды,—всякій тотчасъ же узнавалъ Н. Г. Фролова. Въ той же повѣсти, о которой я упомянулъ сейчасъ, есть страница, посвященная вообще характеристикѣ кружка: „Да это пошлость и скука подъ именемъ братства и дружбы, сцѣпленіе недоразумѣній и претензій подъ предлогомъ откровенности и участія; въ кружкѣ, благодаря праву каждаго пріятеля во всякое время и во всякій часъ запускать свои неумытые пальцы прямо во внутренность товарища, ни у кого нѣтъ чистаго, нетронутаго мѣста на душѣ“ и т. д. Приговоръ этотъ отчасти справедливъ. Бесѣда съ Грановскимъ доставляла великое наслажденіе; она будила умъ, направляла его ко всему высокому и прекрасному, облагораживала сердце; всякій, приближавшійся къ этому необычайно привлекательному человѣку, чувствовалъ себя, если можно такъ выразиться, несколькими нотами выше. Помню, въ какомъ возбужденномъ настроеніи возвращался я домой послѣ нѣсколькихъ часовъ, проведенныхъ въ скромномъ

домикъ у Харитонія въ Огородникахъ; нерѣдко почти цѣлыя ночи проводилъ я въ раздумьѣ подъ вліяніемъ всего мною слышаннаго. Но такое впечатлѣніе производилъ только самъ Грановскій, а ужъ никакъ не люди, составлявшіе его кружокъ. Въ 1848 году, когда я познакомился съ Грановскимъ, Герценъ и Огаревъ находились уже за границей, а Евгенийъ Коршъ переѣхалъ на службу въ Петербургъ; лучшими изъ оставшихся были Кетчеръ и Александръ Станкевичъ¹⁾; первый изъ нихъ недавно сошелъ въ могилу (пишу эти строки въ 1887 году), и въ журналахъ появились статьи о немъ, авторы коихъ старались всячески его идеализировать; дѣйствительно, это былъ человѣкъ въ высшей степени честный, горячо преданный своимъ друзьямъ, но дикарь въ полномъ смыслѣ слова; самая наружность его поражала безобразіемъ, которое вмѣстѣ съ его нечистоплотностью производило непріятное впечатлѣніе; онъ былъ добръ, но о добротѣ его могли судить лишь люди, бывшіе въ очень близкихъ съ нимъ отношеніяхъ; всякаго другаго онъ поражалъ грубостью, рѣзкостью своихъ манеръ, своимъ зычнымъ голосомъ, безцеремонностью въ спорахъ, доходившею до неприличія. Никогда не случалось Кетчеру сказать что-либо оригинальное и умное, никогда бесѣда съ нимъ не была занимательна, но онъ кричалъ, шумѣлъ, говорилъ грубости всякому, кто не соглашался съ его мнѣніемъ. Если таковъ былъ Кетчеръ, то что же сказать объ остальныхъ? Пикулинъ, Николай Щепкинъ (сынъ знаменитаго артиста), Фроловъ, Сатинъ²⁾—все это было полнѣйшее ничтожество. Они

¹⁾ Братъ известнаго талантливаго поэта и мыслителя Н. В. Станкевича, основателя „кружка“.

²⁾ Николай Михайловичъ Сатинъ († 1873), членъ герценовскаго кружка, другъ Огарева, переводчикъ Шекспира, поэт.

благоговѣли предъ Грановскимъ, поклонялись и угождали ему единственно потому, что близость съ нимъ давала имъ нѣкоторое *raison d'être*, заставляла по крайней мѣрѣ ихъ самихъ думать, что они имѣютъ нѣкоторое значеніе. Всѣ они топорщились, старались разсуждать о возвышенныхъ предметахъ, поддѣлываясь подъ тонъ Грановскаго, и смотрѣли косо на всякаго, кто становился посѣтителемъ кружка; у нихъ выработался извѣстный кодексъ идей, и они не прощали другъ другу ни малѣйшаго отступленія отъ него; нельзя безъ изумленія читать въ „Быломъ“ и „Думахъ“ разсказъ о томъ, какъ Герценъ и Огаревъ были возмущены признаніемъ Грановскаго, что онъ вѣритъ въ безсмертіе души, и изъ-за этого разошлись съ нимъ! Эпигоны Герцена и Огарева слѣдовали по ихъ стопамъ, и это выходило и противно, и смѣшно.

„Das schrecklichste der Schrecken ist кружокъ der Stadt Moskau“,—говоритъ Тургеневъ въ упомянутой выше его повѣсти. Его тянуло въ Петербургъ, только тамъ онъ чувствовалъ себя привольно, хотя, повидимому, нравы Петербургскаго литературнаго общества должны были бы производить удручающее впечатлѣніе на человѣка съ такимъ тонкимъ умомъ и съ сильно развитымъ чутьемъ изящнаго. П. В. Анненковъ разсказывалъ, что какой-то провинціальный, весьма почтенный писатель пріѣхалъ въ Петербургъ и жаждалъ познакомиться съ тамошними литераторами; удовольствіе это было ему доставлено, старикъ внимательно прислушивался къ разговору, но мало-по-малу становился все мрачнѣе, на лицѣ его выражалось неописанное изумленіе, и когда вышелъ на улицу, то на вопросъ пріятеля: „Что вы скажете?“ онъ вмѣсто отвѣта горько заплакалъ. И было отъ чего! Не забудемъ, что эта

сцена относится къ концу пятидесятихъ годовъ, когда бѣдствія Крымской кампаніи пробудили общество, и въ воздухъ уже пахло реформами. Но что же было при господствѣ Николаевского режима! Мнѣ самому случилось быть свидѣтелемъ сцены почти такой же, какая описана сейчасъ: вскорѣ по выходѣ моемъ изъ Университета обѣдалъ я у В. П. Боткина съ нѣсколькими пріятелями его, пріѣхавшими изъ Петербурга; тутъ были Григоровичъ, Дружининъ, Панаевъ, а между ними очутился какъ-то и извѣстный романистъ прежняго времени Лажечниковъ. Я не спускалъ съ него глазъ; мнѣ любопытно было слѣдить, какое впечатлѣніе производила на него застольная бесѣда, по поводу которой обѣдавшій съ нами А. В. Лохвицкій сдѣлалъ очень вѣрное замѣчаніе: „...Эти господа, кажется, и не подозреваютъ, что каждый изъ ихъ подвиговъ подходитъ прямо подъ ту или другую статью свода уголовныхъ законовъ“. Въ Петербургѣ процвѣтала обширная литература, которая своимъ содержаніемъ могла бы возбудить зависть въ Барковъ; Дружининъ, Владиміръ Милютинъ, Григоровичъ, Некрасовъ, Лонгиновъ и др. трудились и порознь, и сообща надъ сочиненіемъ цѣлыхъ поэмъ одна другой грязнѣе; даже заглавія этихъ произведеній никто не рѣшится упомянуть въ печати,—много было въ нихъ остроумнаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ грубѣйшее кощунство и цинизмъ, превышающій всякую мѣру. Трудно понять, какъ люди, переживавшіе далеко не веселое время, могли находить развлеченіе въ подобныхъ мерзостяхъ. Въ оправданіе ихъ Тургеневъ указывалъ на „Декамерона“ Боккачіо: въ разгаръ страшной чумы мужчины и изящныя женщины стараются забыть о томъ, что происходитъ вокругъ нихъ, и, собравшись въ тѣсномъ кружкѣ, забавляютъ

другъ друга разсказами достаточно скабрэзнаго содержанія; „а развѣ,—говорилъ Тургеневъ,—Николаевскій гнетъ не былъ для образованнаго общества своего рода чумой?“ Аналогія такъ натянута, что нельзя, конечно, серьезно останавливаться на ней. Нѣтъ, вовсе не такъ называемая гражданская скорбь, а просто-напросто легкомысліе и нравственная распушенность породили литературу, о которой идетъ рѣчь. Писалъ непристойные стихи Пушкинъ, писалъ ихъ Лермонтовъ, но это были грѣхи ихъ юности, вспышки молодого и искренняго разгула; ничего общаго съ этимъ не имѣли Петербургскіе литераторы описываемаго мною времени: хладнокровно, безъ увлеченія, безъ страсти, эти господа, уже далеко не блиставшіе юностью, а нѣкоторые изъ нихъ, даже съ порядочными лысынами на головѣ, упражнялись въ сочиненіи картинъ, которыя вызывали смѣхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и тошноту.

Въ кружкѣ Грановскаго находилъя человѣкъ, очень любившій услаждать себя этой литературой,—В. П. Боткинъ. Весьма существенные интересы привязывали его къ Москвѣ: онъ не рѣшался на сколько-нибудь продолжительное время покинуть отца, ибо надѣялся,—и не обманулся въ своихъ надеждахъ,—что ему удастся прибрать къ рукамъ значительную часть родительскаго состоянія, но сердце влекло его къ Петербургу. Когда онъ попалъ туда, то уподоблялся рыбѣ, которой изъ лохани удалось юркнуть въ воду. Сколько разъ Тургеневъ говаривалъ: „Какое несчастье, что Боткинъ мнѣ другъ, какъ бы мнѣ хотѣлось изобразить его, и ручаюсь, что портретъ вышелъ бы вѣренъ“. Не сомнѣваюсь въ этомъ: Тургеневъ отлично изучилъ Боткина и сумѣлъ бы выставить всѣ отличительныя свойства его натуры.

Боткинъ родился въ купеческой семьѣ, такой же невѣжественной и дикой, какъ всѣ купеческія семьи того времени. Ни отцу, ни матери и въ голову не приходило дать ему сколько-нибудь порядочное образованіе. Обучить его грамотѣ и ариѳметикѣ для того, чтобы засадить его за прилавокъ—далѣе этого не простирались ихъ заботы. Но въ Боткинѣ рано вспыхнула священная искра: онъ съ жадностью набрасывался на книги, читалъ все, что ни попадало ему подъ руку, и почти самоучкой усвоилъ себѣ иностранныя языки. Это былъ, конечно, самый привлекательный періодъ въ жизни Боткина; несмотря на гоненія, испытываемыя имъ дома, онъ отбился отъ торговли, ничего не понималъ въ ней и мало-по-малу завоевалъ себѣ самостоятельное положеніе, т. е. на него махнули рукой. Съ теченіемъ лѣтъ, однако, Боткинъ сумѣлъ подчинить себѣ и семью, внесъ въ нее лучъ свѣта; старикъ Петръ Кононовичъ, отецъ его, видя, какое почетное положеніе занялъ онъ въ обществѣ, совершенно примирился съ нимъ, а братья и сестры были всецѣло обязаны Василю Петровичу тѣмъ, что и они сдѣлались образованными людьми.

Это была очень даровитая натура. Никто не догадался бы, что этотъ человѣкъ не прошелъ никакой высшей школы и всѣмъ былъ обязанъ исключительно самому себѣ. Все было одинаково доступно ему—философія, литература и искусство, но только во всемъ онъ являлся дилеттантомъ; онъ не имѣлъ основательныхъ свѣдѣній и никогда не высказывалъ оригинальныхъ мыслей, но несомнѣнно, что люди, значительно превосходившіе его образованіемъ, находили большое удовольствіе въ бесѣдѣ съ нимъ. Боткинъ обладалъ въ высшей степени искусствомъ схватывать, усваивать чужія знанія и идеи и распо-

ряжаться ими очень ловко. Дорогою же чертой въ немъ была его отзывчивость на всѣ общественные и умственныя интересы; въ этомъ отношеніи онъ—на ряду съ немногими—представлялъ замѣчательное явленіе среди тогдашняго апатичнаго общества. Впрочемъ, въ искусствѣ онъ былъ, по общему мнѣнію, знатокъ,—страстно любилъ музыку, живопись и отличался тонкимъ критическимъ чутьемъ; не могу судить, въ какой мѣрѣ была заслужена эта репутація, потому что очень мало смыслу въ искусствѣ, да не думаю, чтобы можно было составить объ этомъ понятіе по писаніямъ Боткина, такъ какъ писалъ онъ очень мало. Всякій литературный трудъ давался ему не легко; съ самой незначительной по размѣру статейкой возился онъ по цѣлымъ недѣлямъ, ибо усидчивость, напряженная работа надоѣдали ему. Помню, какъ долго высиживалъ онъ свои „Письма изъ Испаніи“, хотя злые языки увѣряли, будто онъ безцеремонно черпалъ для этой книги (сначала появилась она статьями въ „Современникъ“) изъ иностранныхъ сочиненій. Публика почти вовсе не знала Боткина, какъ литературнаго критика, но въ кружкѣ, къ которому онъ принадлежалъ, очень цѣнили его тонкій, хотя нѣсколько капризный вкусъ, и между прочимъ Тургеневъ никогда не упускалъ случая прочесть Василю Петровичу свою повѣсть или романъ прежде, чѣмъ отдать ее въ печать.

Я упомянулъ выше объ отзывчивости Боткина, но не слѣдуетъ думать, чтобы онъ принималъ какіе бы то ни было интересы слишкомъ горячо къ сердцу. Этого не допускалъ его чудовищный эгоизмъ, выразившійся нерѣдко съ комическою наивною. Я убѣжденъ даже, что если въ молодости онъ увлекался болѣе, чѣмъ бы ему хотѣлось, то источникомъ этого было опять-таки своего рода сласто-

любіе: такъ пріятно щекотало его чувство, что изъ невѣжественной среды попалъ онъ въ общество образованныхъ людей, такъ плѣнялся онъ тонкимъ юморомъ Грановскаго, блестящимъ остроуміемъ Герцена, страстными порывами Бѣлинскаго, что всецѣло примкнулъ къ ихъ кружку и шелъ по одному съ ними пути. Впослѣдствіи удивлялись перемѣнѣ, происшедшей въ немъ, но въ сущности перемѣны не было никакой: Боткинъ всегда оставался вѣренъ себѣ, только обстоятельства измѣнились, а вмѣстѣ съ тѣмъ ослабѣло вліяніе на него его друзей, и онъ далъ полную волю чувственнымъ инстинктамъ, преобладавшимъ въ его натурѣ. Особенно важное значеніе имѣла въ его судьбѣ смерть Бѣлинскаго, котораго онъ любилъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и боялся; онъ даже связалъ себя узами законнаго брака благодаря Бѣлинскому, убѣдившему его, что было бы безчестно пользоваться привязанностью какой-то молоденькой француженки, модистки и затѣмъ бросить ее на произволь судьбы. Боткинъ семьянинъ, Боткинъ, заботящійся о женѣ и воспитывающій дѣтей, тотъ самый Боткинъ, который природой былъ предназначенъ заботиться исключительно о собственной персонѣ,—можно ли представить себѣ что-нибудь нелѣпѣ этого! Да онъ, впрочемъ, и не выдержалъ навязанной ему роли: послѣ свадьбы молодые отправились за границу, и, когда пароходъ прибылъ въ Штеттинъ, Боткинъ обратился къ своей супругѣ со словами: „Madame, voici vos malles et voici les miennes,—separons nous“...

Съ Боткинымъ познакомился я нѣсколько прежде, чѣмъ съ Тургеневымъ. Онъ жилъ на Маросейкѣ, въ домѣ своего отца, и благодушествовалъ въ полномъ смыслѣ слова. Европейцемъ старался онъ быть во всѣхъ отношеніяхъ—по манерамъ и вку-

самъ, по покрою платья, а главнымъ образомъ по произношенію. На иностранныхъ языкахъ объяснялся онъ не особенно бойко, но зато очень хотѣлось ему щеголять своимъ акцентомъ. По этому поводу И. С. Тургеневъ потѣшалъ насъ рассказомъ, за правдивость коего я, конечно, не ручаюсь, но во всякомъ случаѣ, онъ очень характеристиченъ. Боткинъ, уѣзжая какъ-то въ Англію, выпросилъ у Тургенева рекомендательное письмо къ г-жѣ Карлейль, женѣ знаменитаго писателя. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя и Тургеневъ отправился въ Лондонъ. М-ме Карлейль обратилась къ нему съ упреками: „Что за схота вамъ—сказала она.—рекомендовать мнѣ вашего друга, который не знаетъ никакого языка, кромѣ русскаго?—„Какъ такъ?“—„Подаютъ мнѣ карточку г-на Боткина; входитъ джентльменъ очень почтенной наружности; начинаю съ нимъ говорить, онъ отвѣчаетъ мнѣ по-русски; перевожу разговоръ на французскій языкъ, затѣмъ на нѣмецкій... та же исторія. Я посмотрѣла на него съ недоумѣніемъ и вышла изъ комнаты; тѣмъ и ограничилось наше знакомство“. При свиданіи съ Боткинскимъ Тургеневъ поспѣшилъ разъяснить эту загадку. „Помилуй, — воскликнулъ съ отчаяніемъ Василій Петровичъ,—вѣдь я говорилъ съ нею чистѣйшимъ англійскимъ языкомъ...“.

Помимо такихъ мелкихъ неудачъ, Боткинъ, въ то же время, какъ я сблизился съ нимъ, былъ какъ нельзя болѣе доволенъ своею судьбой. Наслаждаться жизнью—вотъ что, повидимому, составляло главную его задачу, и надо сказать, что въ этомъ обнаруживалъ онъ рѣдкую виртуозность. Принадлежалъ онъ къ числу людей, которые стараются отогнать отъ себя всякую мысль, отдѣлаться отъ всякаго ощущенія, способнаго нарушить спокойствіе ихъ духа,

умѣютъ ловить моментъ, пользоваться всѣмъ, что, среди какихъ бы то ни было обстоятельствъ, жизнь представляетъ наиболѣе отраднaго. При малѣйшей непріятности онъ приходилъ въ неистовое раздраженіе, шипѣлъ, проклиналъ весь міръ, но какъ же мало требовалось для того, чтобы все представлялось ему въ розовомъ свѣтѣ! Онъ восхищался природой Швейцаріи и Италіи, но точно такъ же млѣлъ отъ восторга, сидя на балконѣ въ какой-нибудь подмосковной дачѣ, смотря на разстилавшійся предъ нимъ далеко неказистый пейзажъ; изысканный, тонкій обѣдъ былъ для него дороже всего, но и послѣ посредственнаго обѣда онъ чувствовалъ себя блаженнѣйшимъ человѣкомъ, особенно, если завязывался интересный для него разговоръ. „Боже мой—говаривалъ онъ, закрывая глаза,—какъ былъ бы я счастливъ, если бы кто-нибудь прочелъ мнѣ хорошіе стихи...“ Въ такія минуты онъ способенъ былъ столь же безотчетно всѣхъ любить, сколько въ другія — ненавидѣть. Боткинъ не отказывалъ себѣ ни въ чемъ, но никогда не тратилъ на себя много, потому что скупъ былъ чрезвычайно; иной безумно сорить деньгами и не испытываетъ удовольствія, а онъ ухитрялся насладиться даже на гроши. Всѣ его помыслы были обращены на самоуслажденіе. Тургеневъ говорилъ о немъ, что когда онъ умретъ, то надо будетъ положить его въ гробъ съ трюфелемъ во рту!

Боткинъ, Грановскій и Кетчеръ были обычными посѣтителями Тургенева, когда — какъ уже упомянуто выше—провелъ онъ нѣсколько месяцевъ въ квартирѣ своего брата. Помѣщался онъ тамъ наверху, въ мезонинѣ, въ трехъ маленькихъ комнаткахъ. Познакомился я и съ его родственниками. Николай Сергѣевичъ производилъ впечатлѣніе очень дюжин-

наго человека, коимъ, впрочемъ, выставялъ его и братъ, упражнявшійся въ остроуміи надъ нимъ, какъ и вообще надъ всѣми. По словамъ его, Николай Сергѣевичъ ровно ничего не понималъ въ литературѣ. „Повѣрите ли, — говорилъ Тургеневъ, — что слово „поэтъ“ для него синонимъ шута. Недавно Яковъ Полонскій читалъ у меня свои стихи, по обыкновенію, глухимъ голосомъ и нѣсколько завывая; чрезъ нѣсколько дней угостилъ насъ чтеніемъ Фетъ; этотъ, напротивъ, декламируетъ восторженно, съ увлеченіемъ; я спросилъ брата, что онъ думаетъ о томъ и другомъ. „Оба хороши, — отвѣчалъ братъ серьезно, — но Фетъ, пожалуй, еще забавнѣе, чѣмъ Полонскій“.... Вообще родственники Ивана Сергѣевича по своему образованію и умственному развитію имѣли съ нимъ мало общаго; онъ появлялся у нихъ лишь на короткое время, а большею частью сидѣлъ у себя въ мезонинѣ. Въ это время онъ усердно работалъ и, между прочимъ, написалъ „Провинціалку“; такъ какъ комедію эту рѣшено было поставить на сценѣ Малаго Театра, то нерѣдко посѣщали его М. С. Щепкинъ и С. В. Шумскій, — съ этимъ послѣднимъ, который долгіе годы былъ связанъ со мной тѣсною дружбой, я впервые встрѣтился у Тургенева. Но особенно много читалъ Тургеневъ. Монтень не выходилъ у него изъ рукъ, онъ былъ въ совершенномъ восторгѣ отъ этого писателя, увлекавшаго его столь же глубокимъ знаніемъ человѣческой природы, сколько образностью и мѣткостью своего языка. Симпатично дѣйствовалъ на него и самый характеръ Монтеня, который въ одну изъ самыхъ бурныхъ историческихъ эпохъ, въ то время, когда религіозный фанатизмъ раздѣлилъ все общество на два проникнутые неистовою враждою лагеря, оставался какъ бы

равнодушнымъ зрителемъ всего этого движенія и безстрастно анализировалъ людскія страсти и отношенія. Помню, что наряду съ другими книгами крайне интересовали его Письма Цицерона, которые читалъ онъ въ нѣмецкомъ переводѣ; по вечерамъ сообщалъ онъ намъ свои впечатлѣнія съ обычнымъ своимъ остроуміемъ и блескомъ. „Я ставлю себя въ положеніе Цицерона, — говорилъ онъ, — и сознаюсь, что послѣ Фарсальской битвы еще больше, чѣмъ онъ, вилялъ бы хвостомъ предъ Цезаремъ; онъ родился быть литераторомъ, а политика для литератора — ядъ“. Жаль, что въ послѣдніе годы своей жизни Тургеневъ вдругъ усмотрѣлъ въ себѣ то, чего у него никогда не было, и явился орудіемъ въ рукахъ политической партіи.

Счастлирое было время, о которомъ я вспоминаю. И Тургеневъ всегда останавливался на немъ съ удовольствіемъ. „Помните ли—говорилъ онъ мнѣ въ своихъ письмахъ—наши вечера на Остоженкѣ“? Видались мы съ нимъ тогда почти ежедневно, и я имѣлъ возможность хорошо изучить его характеръ, но это былъ періодъ моего крайняго увлеченія Тургеновымъ, а потому, если я и подмѣчалъ въ немъ слабыя стороны, то мнѣ было какъ-то неприятно и даже больно останавливаться на нихъ. А этихъ слабыхъ сторонъ было не мало. Такъ, на примѣръ, я удивлялся, что Иванъ Сергѣевичъ съ особеннымъ удовольствіемъ посвящалъ не только своихъ друзей, но и просто хорошихъ знакомыхъ во всѣ подробности родственныхъ своихъ отношеній. Мало ли сколько горечи выносить иногда челоуѣкъ изъ своей семьи, какія тяжелыя воспоминанія пробуждаютъ въ немъ образы близкихъ ему по крови лицъ; но я рѣшительно не постигаю, чтобы это могло служить темой для болѣе или ме-

нѣе игривой бесѣды. А между тѣмъ Иванъ Сергѣевичъ не скупился на рассказы о томъ, что изъ нравственной щепетильности слѣдовало бы, кажется, обходить молчаніемъ.... Онъ никогда не довольствовался передачей чего бы то ни было, какъ оно дѣйствительно происходило, а считалъ необходимымъ всякій фактъ возвести въ перлъ созданія, изукрасить его, ради эффекта, порядочно примѣсю вымысла, и этимъ приѣмомъ не брезгалъ, даже изображая портретъ своей матери. Недавно въ „Вѣстникѣ Европы“ случилось мнѣ прочесть записки бывшей воспитанницы г-жи Тургеневой ¹⁾, которая, конечно, не польстила ей, но Иванъ Сергѣевичъ приписывалъ своей родственницѣ такіе поступки, на какіе едва ли она была способна. Она увѣряла, между прочимъ, что въ бытность его въ сороковыхъ годахъ за границей, когда средства его были крайне истощены, а разсердившаяся мать не давала ему вовсе денегъ, вдругъ получилъ онъ изъ Россіи посылку. Такъ какъ посылка не была франкирована, то онъ уплатилъ за нее свои послѣдніе гроши и—о, ужасъ—что же въ ней оказалось: ящикъ былъ набитъ кирпичомъ. Это будто бы т-те Тургенева прибѣгла къ столь замысловатому средству, чтобы заставить его сдѣлать весьма чувствительный для него расходъ.... За матерью слѣдовалъ отецъ, за отцомъ—братъ, за братомъ—дядя; всѣ они проходили предъ слушателями Ивана Сергѣевича въ далеко непривлекательномъ видѣ, каждаго изъ нихъ обрисовывалъ онъ съ какимъ-то добродушіемъ, безъ ожесточенія и злобы, какъ-будто это были совершенно посторонніе ему лица, и заботился лишь о рельефности красокъ. Впрочемъ, онъ не щадилъ

¹⁾ „Воспоминанія о семьѣ И. С. Тургенева“ Варвары Николаевны Житовой, напечатанныя въ „Вѣстникѣ Европы“ 1884 г., кн. XI и XII. Б. М.

никого; онъ могъ быть въ самыхъ дружескихъ отноше-
шеніяхъ съ человѣкомъ, но это нисколько ему не мѣ-
шало отпускать на его счетъ язвительныя шутки ¹⁾....

Въ запискахъ своихъ Иванъ Сергѣевичъ разска-
залъ подробно исторію своей ссылки въ деревню
за статью по поводу кончины Гоголя. Исторія эта
отразилась и на мнѣ неприятными послѣдствіями.
Дѣло въ томъ, что статью Тургеневъ прислалъ
Боткину для помѣщенія въ „Московскихъ Вѣдомо-
стяхъ“, но Боткинъ попросилъ меня доставить ее
М. Н. Каткову, редактору этой газеты, потому что
былъ въ ссорѣ и не видался съ нимъ. Я тѣмъ
охотнѣе исполнилъ это, что и самъ получилъ отъ
Ивана Сергѣевича маленькое письмецо, въ которомъ
онъ упоминалъ о своей статьѣ. Черезъ нѣсколько
времени, въ 11 часовъ вечера, вернувшись домой,
я встрѣтилъ у себя жандарма, подавшего мнѣ по-
вѣстку о томъ, что я долженъ „немедленно“ явиться
къ генераль-губернатору графу Закревскому. Я ко-
лебался, ѣхать-ли въ такой поздній часъ, но жан-
дармъ объявилъ, что графъ Закревскій ждетъ меня.
Не трудно понять, какое удручающее впечатлѣніе
должны были производить подобныя приглашенія
въ тогдашнее тяжелое время. Генераль-губернаторъ
весьма внушительнымъ тономъ сообщилъ мнѣ, что
дѣло идетъ о статьѣ Тургенева, что самъ Турге-
невъ уже „во всемъ сознался“ (!), и совѣтовалъ
мнѣ послѣдовать его примѣру, ибо только чисто-
сердечное признаніе можетъ смягчить ожидающую
меня кару. Въ отвѣтъ на эту чепуху я объяснилъ,
какого рода было мое участіе въ напечатаніи
статьи, о которой ни Боткину, ни мнѣ не было
извѣстно, что она подвергнута запрещенію со

¹⁾ Сравни., действительно, эпиграммы Тургенева на Дружинина, Кетчера, Кудрявцева, Никитенку, Достоевского. *Б. М.*

стороны Петербургской цензуры; въ доказательство сего я сослался, между прочимъ, на записку Тургенева. Закревскій потребоваль, чтобы я предоставилъ ему эту записку на слѣдующее утро (вѣроятно, она сохранилась въ дѣлахъ III Отдѣленія)¹⁾. Точно такому же допросу подверглись Боткинъ и Катковъ, и затѣмъ насъ оставили въ покоѣ. Оставалось ждать, чѣмъ кончится эта непріятная исторія. Мнѣ и въ голову не приходило, чтобы она могла имѣть какія-либо серьезныя послѣдствія, но В. П. Боткинъ, который при своей трусливости и слабодушии способенъ былъ отъ всякой невзгоды падать духомъ, былъ другого мнѣнія. Безпрерывно рисоваль онъ мнѣ самыя мрачныя картины того, что ожидаетъ насъ. Еще хорошо,—говорилъ онъ,—если бы сослали въ Вологду или Пермь“...— „Да вы съ ума сошли, съ какой стати ѣхать въ Вологду!“ Возраженія эти только раздражали Боткина. „Смотрите, какая пруть“,—восклицаль онъ; „нѣтъ, батюшка, Вологда губернской городъ, тамъ еще можно устроиться и встрѣтить образованныхъ людей, а не хотите ли прогуляться въ Колу? Я былъ бы счастливѣйшій человѣкъ, если бы насъ упекли куда-нибудь не дальше Вологды“. Не помню, сколько времени прошло послѣ моего свиданія съ Закревскимъ, и вотъ снова меня зовутъ къ нему. „Наслѣдникъ Цесаревичъ“ (Императоръ Николай Павловичъ находился тогда, кажется, за границей),—сказаль онъ,— „разсмотрѣвъ мое представленіе по дѣлу о напечатаніи въ Москвѣ запрещенной статьи Тургенева, опредѣлилъ не подвергать наказанію ни васъ, ни Боткина, но оба вы отданы подъ надзоръ полиціи, а вамъ, сверхъ того, приказано поступить на службу“.

¹⁾ Эта записка действительно находится в названномъ деле, хранящемся ныне въ Пушкинскомъ Домѣ. *Б. М.*

Подъ полицейскимъ надзоромъ оставались мы до 1856 года: въ этомъ году явилась для меня возможность ѣхать за границу, и помню я, что много стараній стоило мнѣ выхлопотать заграничный паспортъ...

Съ Тургеневымъ видѣлся я мелькомъ у Грановскаго, когда онъ проѣзжалъ чрезъ Москву въ свое деревенское изгнаніе. Осенью того же года отправился я въ Крымъ, гдѣ поступилъ на службу въ Таврическую Палату Государственныхъ Имуществъ, которою управлялъ давнишній пріятель моего семейства И. И. Брадке. Во время моего пребыванія тамъ, продолжавшагося впрочемъ не болѣе года, мы часто переписывались съ Тургеневымъ и нѣкоторыя изъ его писемъ сохранились у меня. Изъ нихъ видно, между прочимъ, какъ не правы тѣ, которые, говоря о немъ послѣ его кончины, старались изобразить въ самомъ мрачномъ свѣтѣ изгнаніе, которому онъ подвергся. „Я долженъ сказать“ — писалъ онъ (отъ 27 декабря 1852 года), — „что мое пребываніе въ деревнѣ не только не кажется мнѣ тягостнымъ, но я нахожу его весьма даже полезнымъ; я никогда такъ много и такъ легко не работалъ, какъ теперь“. А въ другомъ его письмѣ (отъ 6 марта 1853 г.) находятся слѣдующія строки: „Клянусь вамъ честью, вы напрасно думаете, что я скучаю въ деревнѣ. Неужели бы я вамъ этого не сказалъ? Я очень много работаю и притомъ не одинъ, я даже радъ, что я здѣсь, а не въ Петербургѣ. Прошедшее не повторяется и — кто знаетъ — оно, можетъ быть, исказилось. Притомъ надо и честь знать, пора отдохнуть, пора стать на ноги. Я не даромъ состарился, — я успокоился и теперь гораздо меньшаго требую отъ жизни, гораздо большаго отъ самого себя. И такъ уже я довольно поистратился, пора собрать послѣдніе гроши, а то,

пожалуй, нечѣмъ будетъ жить подѣ старость. Нѣтъ, повторяю, я совсѣмъ доволенъ своимъ пребываніемъ въ деревнѣ“. Изъ этого видно, что Тургеневъ былъ совсѣмъ другого мнѣнія, чѣмъ многіе, писавшіе объ его административной ссылкѣ, насчетъ постигшей его судьбы. Правительство обнаружало относительно его самый грубый, возмутительный произволъ, оно возстановило этимъ противъ себя всѣхъ порядочныхъ людей, но Тургеневу противъ своей воли оказало даже услугу.

Вернулся я изъ Крыма въ Москву въ августѣ 1853 года. Уже ясны были предвѣстія кровавой борьбы, которая должна была имѣть столь громадныя для насъ послѣдствія, хотя при первыхъ выстрѣлахъ, раздавшихся на Дунаѣ, едва ли кто догадывался, что для Россіи *novus nascitur ordo* ¹⁾). Можетъ быть, въ другомъ мѣстѣ удастся мнѣ рассказать многое, что происходило на моихъ глазахъ любопытнаго въ это замѣчательное время,—теперь же я имѣю въ виду исключительно Тургенева. Поразительная перемѣна, совершившаяся въ Россіи, не могла, конечно, не отразиться и на немъ. Въ воспоминаніяхъ своихъ онъ упомянулъ, между прочимъ, что до того времени было у него одно завѣтное чувство—ненависти къ крѣпостному праву, и что онъ поклялся „Аннибаловою клятвой“ всячески преслѣдовать его. Заявленіе—довольно странное въ устахъ Ивана Сергѣевича. Если бы Аннибалъ, глубоко ненавидя Римлянъ, сидѣлъ преспокойно въ Карѣагенѣ, не предпринималъ похода въ Италію и не прославился бы тамъ чудесами храбрости въ борьбѣ съ своими врагами, то ни для кого не было бы интересно, клялся ли онъ погу-

¹⁾ „Нарождается новый порядокъ вещей“, Измененный стихъ Виргилія. *Е. М.*

бить ихъ или нѣтъ. Все дѣло въ его подвигѣ, въ томъ, что клятва не была для него пустымъ словомъ, что осуществленіе ея сдѣлалось задачей его жизни. Ужъ конечно никогда Тургеневъ борьбу съ крѣпостнымъ правомъ задачей для себя не ставилъ. Всѣ образованные люди ненавидѣли это страшное зло нашего общественнаго строя, ненавидѣлъ его и онъ; почти во всѣхъ лучшихъ литературныхъ произведеніяхъ того времени проглядывала болѣе или менѣе ясно, смотря по цензурнымъ условіямъ, эта тема; затронувъ ее въ своихъ „Запискахъ Охотника“, Тургеневъ болѣе чѣмъ кто-либо производилъ впечатлѣніе на читателей, но это потому, что онъ былъ неизмѣримо талантливѣе другихъ. Никогда, однако, не смотря на Аннибалову клятву, онъ не увлекался тенденціей, не жертвовалъ для нея требованіями искусства, ибо былъ исключительно художникомъ, и всякаго рода политическія стремленія и цѣли были ему совершенно чужды. Среди тогдашняго избраннаго кружка не встрѣчалъ я чело-вѣка, который, по самой натурѣ своей, былъ бы такъ мало склоненъ заниматься политикой, какъ Тургеневъ, и онъ самъ сознавался въ этомъ. „Для меня главнымъ образомъ интересно не что, а какъ и кто“,—вотъ фраза, которую непрерывно приходилось слышать отъ него близкимъ ему лицамъ. На первомъ планѣ стояли для него типы, характеры, а вовсе не дѣятельность сама по себѣ въ томъ или другомъ направленіи. Такъ было всегда до того самаго времени, когда извѣстная партія, опьянивъ его похвалами и лестью, навязала Тургеневу совершенно не свойственную роль, и онъ имѣлъ слабость поддаться на удочку. Впрочемъ, кто только не эксплуатировалъ его! Онъ самъ рассказывалъ по этому поводу уморительныя вещи.

Такъ, напримѣръ, В. К. Ржевскій ужъ конечно могъ быть по всей справедливости причисленъ къ разряду людей, которыхъ принято у насъ называть „крѣпостниками“; это былъ человѣкъ незавидной нравственности, но умный, свѣдущій и считавшійся однимъ изъ корифеевъ партіи, враждебной освобожденію крестьянъ ¹⁾). Когда начались засѣданія редакціонныхъ комиссій, онъ поспѣшилъ въ Петербургъ; по словамъ его, онъ объѣздилъ почти всѣ гостиницы и нигдѣ не нашелъ сколько-нибудь удобнаго пріюта, а потому, на основаніи долгаго и близкаго знакомства съ Тургеневымъ,—оба они были Орловскіе помѣщики,—счелъ за лучшее поселиться у него. Однажды, вернувшись съ прогулки, Иванъ Сергѣевичъ нашелъ у себя неожиданнаго сожителя. Но это бы еще ничего. „Можете себѣ представить,—разсказывалъ онъ,—что вотъ уже болѣе двухъ недѣль, какъ моя квартира превратилась въ главный штабъ крѣпостничества; съ утра до ночи приходятъ къ Ржевскому господа, самыя имена которыхъ достаточно говорятъ о томъ, что они замышляютъ; человѣкъ мой избѣгался, подавая имъ чай и закуски; я отлично знаю, что за стѣной, рядомъ съ моимъ кабинетомъ, вырабатываются планы, придумываются всевозможныя каверзы, чтобы затормозить освобожденіе крестьянъ, но—что хотите—у меня просто не хватаетъ духу отправить ихъ всѣхъ къ черту“... Дѣйствительно, положеніе несносное для человѣка, связаннаго Аннибаловою клятвой...

Тургеневъ не остался чуждъ вѣяніямъ времени. Прежніе, исключительно литературные интересы уступили мѣсто интересамъ политическимъ; возникли новыя партіи, новыя направленія, для Рос-

¹⁾ Публицист, деятельный сотрудник „Русскаго Вестника“, членъ Совета Министра Внутреннихъ Дѣлъ, сенатор; умеръ в 1885 г. Б. М.

сіи наступилъ періодъ смутнаго броженія,—и весьма естественно, что Тургеневъ былъ увлеченъ этимъ переворотомъ. Не надо, однако, думать, чтобы у него сложился какой-либо опредѣленный образъ мыслей; никогда мнѣ—и вообще, полагаю, кому бы то ни было—не приходило въ голову интересоваться, чего онъ хочетъ, къ чему стремится, какіе его идеалы: всякій зналъ, что политика—такая сфера, которая не задѣваетъ его заживо. Но онъ видѣлъ, что общественныя отношенія рѣзко измѣнились, что на сцену выступили люди, о которыхъ не было и помину въ прежнее время, и такъ какъ натура его была чрезвычайно отзывчивая, то онъ всячески старался уловить типы этихъ новыхъ дѣятелей. Но какъ же онъ относился къ нимъ? Возьмите, напримѣръ, Рудина, Базарова и другихъ выставленныхъ имъ героев,—и вы затруднитесь, конечно, отвѣчать, преклонялся ли онъ предъ ними или хотѣлъ заклеить ихъ сатирой. Объясняется это вовсе не мнимою объективностью его взгляда,—нѣтъ, разгадка заключалась въ томъ, что при шаткости своихъ политическихъ убѣжденій онъ самъ недоумѣвалъ, какъ слѣдуетъ ему подойти къ этимъ типамъ. Являлась предъ нимъ какая-нибудь фигура, которая ему, человѣку глубоко образованному, съ изошреннымъ до тонкости вкусомъ, съ привычками избалованнаго барича, казалась въ высшей степени противною, но были въ ней черты, привлекавшіе симпатіи нашей, такъ называемой, интеллигенціи, которая усвоила себѣ теоріи грубаго радикализма,—и Тургеневъ терялся, у него не хватало смѣлости изобразить эту фигуру въ настоящемъ свѣтѣ. Къ тому же, какъ ни былъ антипатиченъ извѣстный типъ, но именно своею рѣзкостью, угловатостью и признаками какой-то дикой,

необузданной силы онъ производилъ на дряблую натуру Ивана Сергѣевича неотразимое обаяніе. Мнѣ случилось это наблюдать на отношеніяхъ его къ нѣкоторымъ, внезапно появившимся тогда на сценѣ, представителямъ нашего своеобразнаго прогресса. Не послѣднее мѣсто между ними занималъ Рѣшетниковъ ¹⁾. Никогда не видалъ я его, но привожу здѣсь рассказы о немъ самого Тургенева. Онъ познакомился съ нимъ чрезъ Писемскаго. „Къ тебѣ придетъ на дняхъ,—говорилъ ему Писемскій,—одинъ изъ нашихъ литераторовъ, прими его получше“. — „По какой же причинѣ я принялъ бы его дурно?“, отвѣчалъ Тургеневъ. — „Нѣтъ, я только предостерегаю тебя, чтобы ты какъ-нибудь неосторожно не толкнулъ его“. — „Это что такое?“ — „Видишь ли, онъ явится къ тебѣ вѣроятно совсѣмъ трезвый, но если ты его толкнешь, то взболтаешь сивуху на днѣ его желудка,—ну вотъ онъ мгновенно и опьянѣетъ“.

Впослѣдствіи Салтыковъ (Щедринъ) сообщилъ Тургеневу любопытныя подробности о Рѣшетниковѣ. Пришелъ къ нему Рѣшетниковъ нечесаный, невымытый, оборванный и просилъ походатайствовать о напечатаніи какой-то своей повѣсти, ссылаясь при этомъ на крайне бѣдственное свое положеніе. „Есть ли у васъ семья?“, спросилъ Салтыковъ. „Дѣтей нѣтъ, а только жена“... Принесенная имъ повѣсть была напечатана, гонораръ ему выданъ, и затѣмъ онъ пропалъ. Чрезъ нѣсколько времени посѣтилъ онъ Салтыкова еще болѣе мрачный и растерзанный. „Гдѣ вы скрывались, что вы дѣлали?“—Въ отвѣтъ тотъ же глухой шепотъ:

¹⁾ Федор Михайлович Решетников, писатель-народник, автор „Подлиповцевъ“, „Свой хлебъ“, „Где лучше“ и др.; ум. в 1872 г., 29 лет. Некоторые бумаги его—в Пушкинском Доме. Б. М.

„Пилъ запоемъ, только нынче вышелъ изъ дому, потому что голодъ выгналъ; дайте денегъ“. — „Деньги можно дать, но вѣдь это вамъ же во вредъ, вы опять запьете? — „Нѣтъ, когда я голоденъ, то не пью“.

Однажды Салтыковъ былъ вынужденъ отправиться отыскивать его на квартирѣ. Это было какое-то логовище, темное, грязное, и самъ онъ въ припадкѣ пьянства спалъ на голой скамьѣ. Салтыковъ тщетно старался разбудить его. „Постойте, я вамъ помогу,—воскликнула хозяйка,—его надо будить по своему“. Съ этими словами схватываетъ она палку и наноситъ несчастному ударъ; онъ вскочилъ, но нисколько не обидѣлся; видно было, что такой оригинальный способъ пробужденія практиковался зачастую. Конечно, человѣкъ, дошедшій до такого глубокаго нравственнаго паденія, озлобленный, развращенный и невѣжественный, не могъ произвести ничего, что говорило бы уму и сердцу, а между тѣмъ—какъ ни кажется это удивительнымъ—онъ имѣлъ поклонниковъ; еще удивительнѣе, что Тургеневъ усмотрѣлъ въ его произведеніяхъ какую-то „трезвую правду“ и не задумался поставить его на пьедесталь. Въ этомъ случаѣ онъ поступалъ совершенно такъ-же, какъ позднѣе въ сношеніяхъ своихъ съ нигилистами. Странно было бы предполагать, что онъ сколько-нибудь сочувствовалъ имъ: не могло быть у него съ ними ничего общаго, но они ему казались какими-то демоническими натурами,—и онъ охотно сближался, благодушно бесѣдовалъ, спорилъ съ этими людьми.... Какъ это объяснить? Разгадка заключается, мнѣ кажется, отчасти въ характерѣ Тургенева, а отчасти въ обстоятельствахъ, среди коихъ сложился этотъ характеръ. Николаевскій режимъ имѣлъ тлетворное, гибельное вліяніе

на многихъ людей, которымъ приходилось быть свидѣтелями безобразій, достигшихъ своего апогея преимущественно въ концѣ сороковыхъ и въ началѣ пятидесятихъ годовъ. До сихъ поръ наша литература, вообще болтливая, отнюдь не отличающаяся сдержанностью, остерегалась упоминать объ одномъ явленіи, которое можетъ показаться невѣроятнымъ, а между тѣмъ не подлежитъ сомнѣнію: говорю о томъ, что во время Крымской войны люди, стоявшіе высоко и по своему образованію, и по своимъ нравственнымъ качествамъ, желали не успѣха Россіи, а ея пораженія. Они ставили вопросъ такимъ образомъ, что если бы императоръ Николай восторжествовалъ надъ коалиціей, то это послужило бы и оправданіемъ, и узаконеніемъ на долгое время господствовавшей у насъ ненавистной системы управленія; мыслящимъ людямъ было невозможно мириться съ этой системой; она безжалостно оскорбляла самые завѣтные ихъ помыслы и стремленія. Все это понятно, но не совсѣмъ понятно то, что въ негодованіи своемъ интеллигентные кружки тогдашняго общества (за исключеніемъ, впрочемъ, славянофиловъ) сторонились отъ русской дѣйствительности, взоры ихъ были почти исключительно обращены къ Западной Европѣ, они усвоили себѣ ея идеалы, жили ея интересами, а интересы своей собственной страны оставляли въ какомъ-то забвеніи. Направленіе такого рода было въ высшей степени не нормально, и когда, послѣ Крымской войны, вдругъ, съ неожиданною и негаданною быстротой, наступила для Россіи новая эпоха развитія, то людямъ, о которыхъ я говорю, пришлось пережить трудный внутренній кризисъ, отказаться отъ многого, чему они поклонялись, и, вмѣсто прежняго увлеченія

обольстительными теоріями, сосредоточить свой умъ на изученіи дѣйствительныхъ потребностей Россіи. Нѣкоторые такъ и не справились съ этой задачей. Герценъ, проживая за границей, продолжалъ обсуждать русскія событія съ точки зрѣнія европейскихъ революціонеровъ, предъ которыми онъ (а также и его друзья) привыкъ благоговѣть, когда еще проживалъ въ Москвѣ. Недалеко ушелъ отъ Герцена и Тургеневъ. Конечно, онъ никогда и ничего не проповѣдывалъ, потому что—какъ уже замѣтилъ я выше—былъ большимъ индифферентомъ въ политикѣ, но онъ продолжалъ смотрѣть на Россію, какъ на что-то грубое, дикое и безобразное. Сердце его не лежало къ ней. „Увы, надо признаться, что онъ Россію не любитъ“,—говорилъ мнѣ одинъ изъ ближайшихъ къ нему людей, повѣренный самыхъ сокровенныхъ его думъ,—П. В. Анненковъ. Впрочемъ, и самъ Тургеневъ не стѣснялся открыто развивать мысль о томъ, что Русскій народъ, по сравненію съ другими европейскими народами, принадлежитъ къ разряду жестоко обиженныхъ природой. Онъ судилъ такъ не только о Россіи, но и вообще о всемъ славянствѣ. Неудивительно, что при такомъ отрицательномъ отношеніи къ Россіи Иванъ Сергѣевичъ могъ спокойно выслушивать дикія разглагольствованія нашихъ нигилистовъ. Онъ находилъ, конечно, ихъ теоріи нелѣпыми, спорилъ съ ними, удивлялся фанатизму и тупоумію этихъ людей, но они не вызывали въ немъ омерзѣнія, онъ не отворачивался отъ нихъ съ негодованіемъ и ужасомъ. Въ сущности предметъ спора оставлялъ его довольно равнодушнымъ. Зная его очень близко, я могъ замѣтить, что не политическія ереси, а только ереси въ области искусства заставляли его выходить изъ себя.... Не

подлежитъ сомнѣнію, что ни Лавровъ ¹⁾, ни другіе эмигранты, посѣщавшіе его, не могли опасаться такого отношенія къ себѣ со стороны Ивана Сергѣевича.

Въ самомъ началѣ, однако, при первыхъ встрѣчахъ своихъ съ представителями направленія, которое имъ самимъ такъ удачно было окрещено названіемъ „нигилизма“, Тургеневъ относился къ нимъ съ раздраженіемъ. Онъ видѣлъ, что это что-то новое и въ высшей степени ненавистное. Его коробило наглое издѣвательство Чернышевскаго и компаніи надъ всѣми наиболѣе дорогими приобрѣтеніями европейской цивилизаціи, надъ всѣмъ тѣмъ, что лучшимъ людямъ, среди которыхъ съ ранней молодости вращался Иванъ Сергѣевичъ, казалось завѣтнымъ идеаломъ. Тогда-то явилась у него мысль объ „Отцахъ и дѣтяхъ“. Однажды, когда онъ былъ поглощенъ этимъ романомъ, сошлись мы съ нимъ у Боткина. „Я выставлю типъ,—говорилъ онъ,—который многимъ покажется, быть можетъ, страннымъ, потому что онъ еще недостаточно опредѣлился, но для меня онъ уже какъ нельзя болѣе ясенъ; только русская жизнь способна была произвести подобную мерзость“. Съ типомъ „нигилиста“ Тургеневъ, однако, не совладѣлъ. Это далеко не случайность, что нѣкоторые изъ вожаковъ нашего радикализма увидѣли въ Базаровѣ злую на себя сатиру, а другіе, какъ, на примѣръ, Писаревъ ²⁾, утверждали, что Базаровымъ можетъ только гордиться молодое поколѣніе. Такова ужъ была натура Ивана Сергѣевича, что онъ не былъ въ состояніи очертить фигуру рѣзкими и опредѣленными штрихами. Удивительнѣе всего, что впоследствии

¹⁾ Петр Лаврович Лавров, публицист, философ и политик, псевд. „Миртов“, ум. в 1900 г., 77 лет. Его переписка с Тургеневым напечатана в „Минувших Годах“ 1908 г., № 8. Б. М.

²⁾ Критик Д. И. Писарев. Б. М.

онъ самъ счелъ нужнымъ заявить, будто симпатіи его были вполнѣ на сторонѣ Базарова, будто онъ раздѣлялъ всѣ убѣжденія избраннаго имъ героя. Встрѣтившись съ нимъ въ 1870 году въ Баденѣ, я напомнилъ ему о нашемъ разговорѣ у Боткина. „Помните ли,—говорилъ я ему,—съ какимъ отвращеніемъ относились вы къ только что зарождавшемуся у насъ нигилизму, въ какую заслугу вы ставили себѣ намѣреніе изобличить его,—помните ли, что вы своими словами привели въ восторгъ даже В. П. Боткина, а ужъ это значитъ очень много... И вдругъ теперъ вы хотите увѣрить, будто сочувствуете въ Базаровѣ всему, рѣшительно всему, стало быть даже его взглядамъ на искусство, въ которомъ онъ видитъ не что иное, какъ праздную забаву: ну, скажите, пожалуйста, зачѣмъ вамъ понадобилось это?“—Иванъ Сергѣевичъ засмѣялся и махнулъ рукой.—„Что хотите,—сказалъ онъ,—я ужъ дѣйствительно хватилъ черезъ край“...

Нѣсколько словъ по поводу Боткина, о которомъ я упомянулъ сейчасъ. Переворотъ, уже давно обозначавшійся въ немъ, достигъ крайняго своего проявленія въ послѣдніе годы его жизни. Грановскій острилъ надъ нимъ, что онъ сдѣлался консерваторомъ не столько по убѣжденію, сколько изъ скупости и трусости. И это было дѣйствительно такъ. Жилось ему отлично,—онъ имѣлъ возможность удовлетворять всѣ свои прихоти, но, когда обнаружались у насъ первые признаки революціоннаго броженія, имъ овладѣлъ паническій страхъ. Воображеніе непрерывно рисовало ему картины общаго мятежа, въ которомъ погибнуть его капиталы, а вмѣстѣ съ ними, пожалуй, и онъ самъ. По обыкновенію онъ выражалъ свои страхи очень наивно и ничѣмъ не стѣсняясь. Нерѣдко можно было слы-

шать отъ него такія фразы: „Напрасно нападаютъ у насъ на шпионовъ; я шпионовъ люблю: только благодаря шпионамъ можно жить спокойно“. Или же съ любовью начиналъ описывать пытки, которыя употреблялись въ старину, и очень скорбѣлъ, что нельзя прибѣгать къ нимъ при нашихъ нравахъ и понятіяхъ. Подъ конецъ видимо старался онъ пробудить въ себѣ религіозное чувство, даже принимался читать религіозныя книги, но все это какъ то у него не выходило... Всякій разъ, когда наступало затишье и Боткинъ успокаивался отъ смущавшихъ его зловѣщихъ призраковъ, онъ тотчасъ же клалъ богословскій трактатъ въ сторону и переходилъ къ Шопенгауеру. Предсмертныя его дни оставили во мнѣ неизгладимое воспоминание.

Это было въ 1869 году. Изъ-за границы, куда отправился онъ для леченья, приходили тревожные о немъ извѣстія, но никто не предполагалъ, чтобы онъ былъ такъ плохъ, какъ оказалось это въ дѣйствительности. Лѣтнее время упомянутого года я провелъ въ деревнѣ, въ Московской губерніи, куда одинъ изъ моихъ пріятелей писалъ, что Боткинъ вернулся изъ своего путешествія. По приѣздѣ моемъ въ Петербургъ я нашелъ у себя на столѣ записку какой-то неизвѣстной госпожи, сообщавшей, что Василій Петровичъ очень боленъ и очень желаетъ меня видѣть. Вечеромъ того же дня я посѣтилъ его — и не вѣрилъ своимъ глазамъ. Предо мною былъ не живой человѣкъ, а трупъ. Боткинъ лежалъ на диванѣ навзничъ, со сложенными на груди руками; казалось, все тѣло его было парализовано, и онъ не могъ двигать ни однимъ мускуломъ; лицо восковое, мертвенно блѣдное и страшно исхудавшее; говорилъ онъ — и то нѣсколько словъ — глухимъ, невнятнымъ шепотомъ, который едва удава-

лось улавливать. Разумѣется, ни о какой бесѣдѣ съ нимъ нельзя было и помышлять; полчаса просидѣлъ я около несчастнаго, разговаривая съ находившеюся при немъ дѣвушкой (она-то и писала мнѣ записку), обязанности коей состояли въ томъ, чтобы ухаживать за нимъ и по возможности его развлекать. Вдругъ появились у него какіе-то судороги на лицѣ, и онъ началъ дѣлать мнѣ знаки глазами.—„Вы хотите что-нибудь сказать?“, спросилъ я.—„Какого вы мнѣнія,—прошепталъ Боткинъ,—о кулебякѣ со стерлядью и разною другою рыбой?“—„Что же, вещь хорошая“.—„Пожалуйста, приходите завтра обѣдать, буду ждать“. Я обѣщаль, но конечно не думаль исполнить свое обѣщаніе: какой тутъ обѣдъ, когда несчастному ежеминутно угрожала предсмертная агонія! Дѣвушка, провожавшая меня въ другую комнату, увѣряла, однако, что я сильно огорчу Василия Петровича отказомъ, что единственная его отрада—собирать вокругъ себя своихъ пріятелей, что Григоровичъ, Гончаровъ, Анненковъ, Ѡ. И. Тютчевъ непременно явятся на приглашеніе. Дѣйствительно, на другой день я нашель ихъ въ сборѣ. Боткина не было въ гостиной, онъ лежалъ въ спальнѣ и—какъ мы узнали—чувствовалъ себя хуже, чѣмъ когда-нибудь. У насъ уже явилась мысль удалиться, но компаньонка его—та дѣвушка, о которой упоминаль я сейчасъ,—очень убѣждала насъ не дѣлать этого. Сѣвши за столъ, мы съ изумленіемъ замѣтили, что одно изъ мѣстъ остается незанятымъ. Неужели, спрашивали мы другъ друга, это мѣсто предназначается для Боткина, неужели онъ, въ своемъ отчаянномъ положеніи, считаетъ возможнымъ принять участіе въ трапезѣ? Недолго длились наши недоумѣнія: чрезъ нѣсколько минутъ послышался

шумъ, лакеи подкатили къ обѣденному столу кресло, на которомъ сидѣлъ Боткинъ; онъ не могъ держаться прямо, голова его была закинута назадъ, глаза закрыты... Когда подавали блюда, лакей кричалъ ему на ухо: „Василій Петровичъ, угодно ли кушать?“— и въ отвѣтъ на это ни звука, ни малѣйшаго движенія. „Умеръ“,— шепталъ мнѣ Гончаровъ. Нѣтъ, онъ еще не умиралъ, и лакей кормилъ его, какъ грудного младенца, послѣ чего опять наступало оцѣпенѣніе. Конечно, не совсѣмъ пріятно было Донъ-Жуану ужинать съ командоромъ, но командоръ явился къ нему мраморною статуей, а мы обѣдали съ трупомъ, который, вмѣсто того, чтобы положить его въ гробъ, посадили рядомъ съ нами. Было отъ чего содрогаться! Послѣ этого веселаго пиршества перенесли Боткина въ гостиную на диванъ, и одна изъ его родственницъ, отличная музыкантша, играла ему Бетховена и Шумана. Сколько можно было судить по выраженію его глазъ, музыка доставляла ему наслажденіе даже въ эти минуты, когда онъ оставался глухъ и равнодушенъ ко всему.

Этимъ однако не кончилось. Черезъ нѣсколько дней друзья Боткина получили приглашеніе къ нему на утренній концертъ. Я не могъ пойти къ нему, мнѣ нужно было цѣлое утро просидѣть за служебными дѣлами, но, вышедши предъ обѣдомъ на Невскій проспектъ, я встрѣтилъ П. В. Анненкова. „Знаете ли что случилось?“ воскликнулъ онъ: „подъѣзжаю я нынче къ квартирѣ Боткина и вижу, что у подъѣзда вынимаютъ изъ фургона контрабасъ, скрипки, флейты и т. п. Вслѣдъ за музыкантами поднимаюсь я по лѣстницѣ,— глядь, на встрѣчу намъ идетъ священникъ съ причтомъ... Бѣдный Василій Петровичъ-то скончался, и только что отслужили по немъ первую панихиду“.

„Aimable raieп“, какъ выразился о покойномъ
Ө. И. Тютчевъ. Онъ жилъ для наслажденія и
остался вѣренъ этому до послѣдняго своего вздоха!

Съ половины семидесятыхъ годовъ (если даже
не раньше,— быть-можетъ, память измѣняетъ мнѣ)
Тургеневъ бывалъ въ Россіи лишь наѣздами и на
самое короткое время. Мнѣ ничего неизвѣстно о
заграничной его жизни и объ отношеніяхъ его къ
семейству Віардо. Какъ-то въ Баденѣ докторъ
Гейлигенталь, близкій человѣкъ въ этомъ семей-
ствѣ (я часто встрѣчалъ его у Н. А. Милютина),
удивлялся, что Иванъ Сергѣевичъ осудилъ себя на
роль, не совсѣмъ приличную ни для его лѣтъ, ни
для его литературной репутаціи. Не знаю, въ какой
мѣрѣ это справедливо. Своихъ друзей, за исклю-
ченіемъ двухъ или трехъ, въ томъ числѣ Боткина,
онъ не знакомилъ съ г-жей Віардо, и это, какъ
увѣряли, будто бы потому, что она вообще пи-
тала непреодолимое отвращеніе къ Русскимъ. И у
насъ платили ей, кажется, тою же монетою. Однажды
Я. П. Полонскій началъ говорить Тургеневу при
мнѣ, что она возбуждаетъ непріязненное къ себѣ
чувство уже потому, что оторвала его отъ Россіи.
Тургеневъ ее защищалъ. „Мнѣ кажется,— сказалъ
я,— что нападки на т-те Віардо не совсѣмъ ос-
новательны; не она, такъ другая: натура ваша такова,
что непременно кто-нибудь долженъ был забрать
васъ въ руки,— нѣкоторые люди, въ томъ числѣ и
вы, находятъ въ этомъ необходимое для нихъ
успокоеніе“. Тургеневъ разсмѣялся и обнялъ меня.—
„Что дѣлать, это такъ!“ — воскликнулъ онъ;— вы
высказали неопровержимую истину“...

Въ самые послѣдніе годы жизни Тургенева я
уже не встрѣчался съ нимъ. Пріѣзжая въ Россію,
онъ, видимо, сторонился отъ своихъ прежнихъ прі-

ателей. Это было время, когда наша такъ называемая либеральная партія, долго преслѣдовавшая его своими нападками, вдругъ догадалась, что несравненно выгоднѣе расточать ему восторженные похвалы, курить ему оиміамъ,—и Иванъ Сергѣевичъ охотно пошелъ на эту приманку. Не буду останавливаться на этомъ печальномъ періодѣ его жизни, не представляющемъ ничего загадочнаго для того, кто зналъ его характеръ. Тургеневъ былъ баловень судьбы. Природа была щедра къ нему, и обстоятельства сложились такъ, что на жизненномъ пути своемъ онъ встрѣчалъ только цвѣты и никакихъ терній; за исключеніемъ пресловутой ссылки въ деревню, которая, какъ замѣчено мною выше, вовсе не была для него особенно страшной, онъ не испыталъ невзгодъ; утраты близкихъ ему лицъ не причиняли ему глубокаго и продолжительнаго горя; онъ неспособенъ былъ сильно любить, но постоянно нуждался въ томъ, чтобы его обожали, лелѣяли, чтобы какъ можно болѣе занимались имъ. Человѣкъ съ огромнымъ талантомъ, пользовавшійся совершенно независимымъ положеніемъ, онъ могъ бы обнаруживать благотворное вліяніе на общество, но для этого прежде всего требовалась стойкость характера и убѣжденій, чего именно и недоставало Тургеневу. Онъ не въ состояніи былъ руководить другими, у него не хватило мужества перенести недоброжелательство, которое, подъ вліяніемъ газетныхъ крикуновъ, начала обнаруживать къ нему публика,—и онъ пошелъ въ хвостъ людей, отъ которыхъ ожидалъ, что они возстановятъ утраченную имъ популярность.

Кончая этотъ очеркъ моего близкаго знакомства съ Тургеневымъ, я охотно забываю, однако, слабыя его стороны, и въ моихъ воспоминаніяхъ

рисуетъ лишь то, что дѣлало его неотразимо привлекательнымъ. Тѣ часы, которые я проводилъ съ нимъ въ первые годы моей съ нимъ пріязни, когда онъ еще не принималъ никакой политической окраски, останутся навсегда незабвенными для меня. Да и въ послѣдствіи,— можно было сѣтовать на Тургенева, жалѣть о легкомысліи, съ какимъ онъ относился къ вопросамъ великой важности, но нельзя было все-таки не восхищаться имъ и не любить его...

Е. Эвектистовъ.



II.

Неизданные письма Тургенева.

Съ объясненіями Б. Л. Модзалевскаго.

Графу А. К. Толстому ¹⁾.

1.

[Апрѣль—іюнь 1855 г. Спасское-Лутовиново].

Любезный графъ!

Во-первыхъ, пользуюсь случаемъ напомнить Вамъ о себѣ,—а во вторыхъ обращаюсь къ Вамъ съ слѣдующей просьбой (Вы меня избаловали).—У меня есть давнишній пріятель, Михайло Александровичъ Языковъ, прекраснѣйшій, честнѣйшій и милѣйшій человѣкъ, котораго я люблю отъ души.—Онъ находится въ обстоятельствахъ весьма тѣсныхъ, боится лишиться небольшого казеннаго мѣстечка, которымъ живетъ—и судьба его вообще принимаетъ видъ не очень веселый. Позвольте рекомендовать его Вашему вниманію;—всякое одолженіе, которое вы ему окажете, я сочту гораздо болѣе чѣмъ за личное одолженіе. Мнѣ совѣстно такъ часто беспокоить Васъ просьбами—но что прикажете дѣлать?—Пеняйте на себя сами—будь Вы иной,—Васъ бы не беспокоили.

Я живу въ деревнѣ—и предаюсь всѣмъ удовольствіямъ „сельской тишины“—насколько это

¹⁾ Пожертвовано Пушкинскому Дому А. М. Языковой.

возможно при нынѣшнихъ обстоятельствахъ.—Погода чудесная.—Что Вы дѣлаете и гдѣ Вы? Пишу Вамъ на всякій случай въ Петербургъ. Напишите, пожалуйста, о себѣ.—Куда идетъ Вашъ полкъ — и начинаете ли Вы втягиваться въ военную службу? Передайте мой почтительный поклонъ Вашей матушкѣ, а такъ же поклонитесь всѣмъ хорошимъ знакомымъ, начиная съ Софьи Андреевны.—Будьте здоровы и не забывайте

искренно Вамъ преданнаго

Ив. Тургенева.

На конверте адресъ неизвестнымъ почеркомъ: Его Сіятельству Графу Алексѣю Толстому. Отъ Ив. С. Тургенева.

Михаилъ Александровичъ Языковъ (род. в 1811 г. ум. в 1885 г.), о которомъ с такимъ дружескимъ чувствомъ говоритъ в этомъ письмѣ Тургеневъ, былъ однимъ изъ его искреннейшихъ друзей; человекъ просвѣщенный, чрезвычайно симпатичный, остроумный и живой, онъ былъ в дружбѣ с Белинскимъ, Грановскимъ, Герценомъ, Фетомъ, Боткинымъ, Гончаровымъ, Некрасовымъ, Панаевымъ, Салтыковымъ, Достоевскимъ и многими другими писателями; письма к нему Гончарова напечатаны нами во „Временникѣ Пушкинскаго Дома“ 1914 г., а Тургенева — в „Невскомъ Альманахѣ“ (вып. 2: „Изъ прошлаго“); ниже мы помещаемъ еще одно письмо Тургенева к Языкову — от 1877 года.

Письмо Тургенева к поэту графу Алексею Константиновичу Толстому писано весною или летом, из деревни; оно не датировано, но время его на-

писания можно определить довольно точно. Тургенев спрашивает Толстого, начинает ли он втягиваться в военную службу,—а в Стрелковый полк поэт поступил, во время Восточной, „Крымской“ войны, 28 марта 1855 г.; в половине мая он выехал к месту нахождения полка — под Новгород, в село Медведь, где и пробыл до второй половины июня, после чего вернулся в Петербург. Из того, что письмо Тургенева, переданное в Пушкинский Дом дочерью М. А. Языкова, осталось в бумагах последнего, видно, что Языков, приехав в Петербург, не мог передать его адресату, находившемуся в отъезде, т.-е., что это было между половиной мая и половиной июня 1855 г.; письмо же, конечно, могло быть писано даже несколько раньше—еще в апреле (в Спасское в 1855 году Тургенев приехал 12 апреля).

Нельзя не почувствовать особенной нежности тона письма Тургенева к Толстому: тон этот объясняется не только вообще симпатичною личностью поэта, но и тою исключительною отзывчивостью, которую проявил он именно к судьбе Тургенева, когда последнему в 1852—1853 гг. пришлось хлопотать о смягчении своей участи после высылки в деревню за некролог Гоголя, при помощи Наследника Александра Николаевича. С теплотою Тургенев упоминает и о матери Толстого—графине Анне Алексеевне (умерла 2 июня 1857 г.), беззаветно любившей сына и постоянно с ним жившей; наконец, упоминает он еще имя Софьи Андреевны Миллер, рожд. Бахметевой, к тому времени уже окончательно овладевшей сердцем Толстого, с которым она могла обвенчаться лишь в 1863 году. Три дружеских письма к ней Тургенева, из Спасского-Лутовинова, от 6 марта, 19 мая и 12 октября

1853 г., опубликованы в „Вестнике Европы“ 1908 г. (январь, стр. 207—211).

Напомним здесь кстати, что в 1875 году, по поводу смерти графа Толстого, Тургенев написал прочувствованное письмо к М. М. Стасюлевичу, помещенное последним, вместо некролога, в „Вестнике Европы“¹⁾ и заканчивавшееся следующей фразой, свидетельствующей о том, как Тургенев умел помнить и ценить добро, ему сделанное: „Мне бы не хотелось,—писал он,—кончить это письмо чем-нибудь касающимся до моей личности; но перед этой, еще свежей могилой, чувство благодарности заставляет умолкнуть все другие: граф А. К. Толстой был одним из главных лиц, способствовавших прекращению изгнания, на которое я был осужден в самом начале пятидесятых годов. Мир праху твоему, незабвенный русский человек и русский поэт“!...

2.

М. А. Языкову²⁾.

Bougival. Les Frères. Châlet.

Среда, 26/14 Сент. 77.

Любезный другъ Михаилъ Александровичъ — очень было мнѣ приятно получить отъ Васъ письмо. Вспомнились молодые годы, былыя времена и много другихъ хорошихъ вещей. — Когда-то мы увидимся! — Можетъ-быть нынешней зимой, такъ как я на два

¹⁾ 1875 г., кн. 11, стр. 433—434; „Сочинения“, изд. 5, т. X, СПб., 1911, стр. 506—509. М. Е. Салтыков-Щедрин был недополен этим „панегириком“, и Тургенев в письме к нему от 26 декабря 1875 г. объяснял ему свой взгляд на Толстого. („Первое собрание писем Тургенева“, стр. 276—277).

²⁾ Пожертвовано Пушкинскому Дому А. М. Языковой.

или на три мѣсяца прїѣду въ Россію — въ Петербургъ. Очень было бы хорошо.

Что касается до переводной статьи, присланной Вами, то съ сожалѣньемъ долженъ сказать Вамъ, что она не можетъ годиться — и что Г-ну Петровскому, — которому я желаю всего хорошаго за его честныя намеренія — еще долго придется трудиться надъ изученіемъ французскаго языка. Не говоря уже о томъ, что не существуетъ француза, который бы понялъ фразы въ родѣ слѣдующей: „Si ma voix agira sur plusieurs et plusieurs, tout autant les arguments de l'autre point de vue, émit (вмѣсто émis) par vous — devront agir sur maintes et maintes“.

Г-нъ Петровскій слишкомъ еще слабъ въ грамматикѣ и даже въ орѳографіи. — Пусть онъ возьметъ дѣльнаго учителя француза и пристально поработаетъ; тогда со временемъ можно ему будетъ доставить сотрудничество во французскомъ журналѣ; да и статья Костомарова слишкомъ специальна для здѣшней публики. — Пока объ этомъ думать нечего ¹⁾.

Если г-нъ П. того желаетъ — я ему вышлю обратно его статью; не то — я ее уничтожу.

Съ И. П. Арапетовымъ ²⁾ я выдаюсь — и даже послѣ-завтра обѣдаю съ нимъ. Я передалъ ему

¹⁾ Речь идет о переведенной неким Петровским статье Костомарова по польскому вопросу, написанной в виде его ответа А. Д. Градовскому на его письмо к Костомарову в „С.-Петербургских Ведомостях“ 1877 г., № 213, от 4 августа; Костомаров возразил Градовскому в „Новом Времени“ 1877 г., № 523, от 13/25 августа; приведенная французская фраза — скверный перевод слов Костомарова в начале его ответа Градовскому.

²⁾ Иван Павлович Арапетов (род. в 1811 г., † 29 мая 1887 г.), племянник графа И. Д. Делянова, питомец Московского Университета, служил в Департаменте Уделов и во II Отделении Собственной Е. В. Канцелярии; „человек блестя-

Вашъ поклонъ. — П. В. Анненковъ поселился на зиму въ Брюссель. — Впрочемъ, мы его ждемъ на дняхъ въ Парижъ, гдѣ онъ собирается погостить.

Здоровье мое порядочно,—но на душѣ хмуро и невесело, какъ и не можетъ быть иначе, при теперешнемъ положеніи дѣлъ.

Кланяюсь всѣмъ Вашимъ и дружески жму Вамъ руку.

Преданный Вамъ

Ив. Тургеневъ.

О Михаиле Александровиче Языкове мы уже сказали несколько словъ выше, при письме о немъ Тургенева къ графу А. К. Толстому. Здесь только укажемъ, что в „Щукинском Сборнике“ (вып. VIII, М. 1909, стр. 213—214) напечатано одно письмо Языкова къ Тургеневу, от 22 июля 1881 года, из Новгорода (где Языковъ былъ управляющимъ Питейно-Акцизнымъ Управлениемъ); в этомъ письмѣ онъ просилъ Тургенева прочесть книжку охотничьихъ рассказовъ новгородскаго акцизнаго чиновника Бунина и высказать о ней свое мнѣніе.

шихъ способностей и европейскаго образования“, онъ, по словамъ П. П. Семенова-Тянь-Шанскаго, былъ „очень либеральный по своему направленію и преданный другъ Н. А. Милютинъ“ („Мемуары“, т. III, Пгр. 1915, стр. 163); будучи назначенъ членомъ Редакціонныхъ Комиссій отъ Министерства Двора и Уделовъ, онъ примкнулъ къ большинству Комиссій, лидеромъ котораго былъ Милютинъ. „Человекъ блестящаго ума, живой и остроумный, обладающій тонкимъ эстетическимъ чутьемъ, онъ попалъ рано в среду русскихъ литераторовъ и сталъ другомъ Некрасова, Боткина, Панаева, Дружинина, Тургенева, Лонгинова, Кавелина и др.“ (тамъ же). Впоследствии, в чинѣ тайнаго советника, былъ членомъ Горнаго Совета. В Пушкинскомъ Домѣ имеются три письма его къ Тургеневу, отъ июля и августа 1868 г. изъ Петербурга. В своей „Хронологической канвѣ для биографіи И. С. Тургенева“ Н. М. Гутьяръ приводитъ, на стр. 24, начало сочиненной Тургеневымъ, вместе съ Некрасовымъ и Дружининымъ, „неприличной“ эпиграммы въ стихахъ на Арапетова, подъ названіемъ „Загадка“. См. о немъ у С. А. Венгерова, „Источники“, и в „Тургеневскомъ Сборникѣ“, изданномъ подъ руководствомъ Н. К. Пиксанова.

3.

М. Н. Каткову ¹⁾).

1.

Парижъ 17-го Сент. 59.—Суббота.

Любезнѣйшій Михаилъ Никифоровичъ, спѣшу отвѣтить на Ваше любезное письмо, извиняясь заранее, что отвѣтъ будетъ коротокъ.—Я сегодня вечеромъ ѣду въ Остендэ, гдѣ пробуду два дня,—а оттуда отправлюсь прямо в Россію—и хлопотъ у меня полонъ ротъ. На счетъ моей повѣсти—повторяю еще разъ: она пишется для Русского В—ка и только въ Р. В. явится ²⁾.—Я привезу ее готовую изъ деревни въ Москву 1-го Декабря—слѣд. ничего не помѣшаетъ ей явиться начиная съ Январской книжки. Объемомъ она больше Двор. Гнѣзда ³⁾. Изъ 3.600 фр.—я взялъ 600.—Вы видите, что услуга Ваша пригодилась,—больше мнѣ не нужно, а остальные 3.000 фр. посылаю [для большей вѣрности сегодня же Боткину ⁴⁾ въ Лондонъ, такъ какъ онъ извѣщаетъ о] ⁵⁾ въ прилагаемомъ векселѣ отъ Гомберга на Лондонскаго банкира. Я было думалъ послать этотъ вексель въ Лондонъ на имя Бот-

¹⁾ Письма эти принесены в дар Пушкинскому Дому баронессой С. М. Энгельгардт, рожд. Катковой, дочерью адресата.

²⁾ Речь идет о повести „Накануне“, появившейся, действительно, в 1-й, январской книжке „Русского Вестника“, вышедшей в феврале 1860 г. Ср. в письмах Тургенева к М. А. Маркович—„Минувшие Годы“, 1908 г., № 8, стр. 79, 80, 82.

³⁾ Последнее было помещено в 1 книге „Современника“ 1859 г. и в том же году вышло отдельным изданием А. Ф. Базунова.

⁴⁾ Василию Петровичу.

⁵⁾ То, что в прямых скобках,—зачеркнуто.

кина — но разсудилъ, что вы вѣроятно дождетесь моего [письма] отвѣта на о. Уайтѣ ¹⁾. Прошу Васъ только дать мнѣ немедленно знать въ Остендѣ, rue de Saint Paul, hôtel de l'Agneau — о полученіи векселя.

Еще разъ благодарю Васъ — жму Вамъ руку и до свиданія въ Москвѣ въ Декабрѣ.

Вашъ

Ив. Тургеневъ.

Р. S. Я только вчера пріѣхалъ въ Парижъ ²⁾ и не могъ послать деньги раньше.

2.

[4-го іюня 1862 г. Москва]. Понедѣльникъ.

Любезнѣйшій Михаилъ Никифоровичъ, пишу [это] Вамъ два слова для того только, чтобы попросить Васъ сделать мне одолженіе и выслать теперь же Марьѣ Александровнѣ Марковичъ 300 р. сер.—Въ случаѣ если бы ни одинъ изъ данных мною Вамъ рассказовъ не удовлетворилъ Васъ или если М. А. найдетъ цѣну 150 р. за листъ слишкомъ низкою и напишетъ Вамъ объ этомъ—прошу Васъ

¹⁾ Тогда на о. Уайте жили П. В. Анненков, гр. А. К. Толстой, сыновья Я. И. Ростовцева, В. П. Боткин и др.

²⁾ В день приезда, 16 сентября, Тургенев писал А. И. Герцену, что 17 он уезжает в Россію, и сообщил о своем знакомствѣ с декабристами Вегелином и С. Г. Волконским, „очень милым и хорошим стариком, который тоже тебя любит и ценит“ („Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к А. И. Герцену“. С объяснит. примеч. М. Драгоманова, Герѣвс. 1892, стр. 119).

считать эти 300 р. сер. за мною — какъ будто Вы мнѣ ихъ дали впередъ за будущую мою повѣсть.

Благодарю Васъ заранѣе за исполненіе моей прозбы,—жму Вамъ крѣпко руку и остаюсь

Преданный Вамъ

Ив. Тургеневъ.

Понедѣльникъ утромъ ¹⁾.

3.

Въ Вѣд. Удѣльной Конторы.
Суббота, 11-го Марта 1867 ²⁾.

Почтеннѣйшій Михаилъ Никифоровичъ, позволяю себе передъ отъѣздомъ въ деревню, откуда возвращаюсь черезъ недѣлю, — еще разъ напомнить слѣдующее.—Г-да Любимовъ ³⁾ и Головачевъ обѣ-

¹⁾ Время написания этой записки точно определяется письмом Тургенева к М. А. Маркович, писанным из Москвы 4 июня 1862 г., которое приходилось как-раз на понедельник (в предыдущий понедельник Тургенев был в Петербурге, а в следующий—уже в Спасском-Лутовинове). Тургенев писал М. А. Маркович, известной писательнице и переводчице, с которою познакомился в 1859 г. и в отношении которой, в бытность ее за границей, находился, по своему шутовому выражению в одном из писем к Герцену, „в положении дяди или дядьки“ (Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену, изд. Драгоманова, стр. 126),—следующее: „Я не писал Вам из Петербурга, потому что я хотел быть в состоянии поговорить с Катковым и дать Вам знать, что из этого выйдет... Катков не без колебания и затруднения взял „Пустяки“ и „Скрипку“,—но о 200 р. сер. (не говоря уже о 250) и слышать не хочет и более 150 не дает. Я взял на себя согласиться... но если Вам эта цена покажется слишком незначительной, то напишите немедленно в редакцию „Русского Вестника“, не стесняясь тем, что деньги (300 р. сер.) будут Вам высланы вперед,—тогда Катков будет считать их за мною, а я—за Вами. Это у нас так условлено. Во всяком случае, Вы получите 300 руб. и увидите сами, что Вам делать („Минувшие Годы“, 1908 г., авг., стр. 91—92). Из дальнейших писем Тургенева к Маркович (все эти письма ныне принадлежат Пушкинскому Дому) видно, что Маркович 300 р. получила, но не согласилась на условия Каткова, и Тургенев продолжал хлопоты о напечатании ее рассказов (там же, стр. 92, 93, 94).

²⁾ Писано из квартиры друга Тургенева — Ивана Ильича Маслова, управляющего Московской Удельной Конторой.

³⁾ Николай Алексеевич Любимов (род. в 1830 г., †1897 г.), профессор физики в Московском Университете, публицист, сотрудник и единомышленник Каткова и его биограф. См. о нем „Былое“ 1919, № 14 и 1920, № 15.

щали мнѣ, что какъ только я возвращусь, т. е. около 19-го числа—корректурѣ ¹⁾ пойдетъ безостановочно; но съ тѣхъ поръ я получилъ изъ за границы письмо, въ силу котораго я не могу остаться въ Москвѣ далѣе первыхъ чиселъ Апрѣля; и потому будьте любезны и подтвердите распоряжение о незамедлительномъ наборѣ корректуры.—Вы меня этимъ крайне обяжете.

Благодарю Васъ за присланныя деньги и дамъ Вамъ тотъ часъ знать о моемъ возвращеніи. До тѣхъ поръ дружески жму Вамъ руку и остаюсь

Преданный Вамъ

Ив. Тургеневъ.

М. Н. Катков (род. 1 ноября 1818 г., † 20 июля 1887 г.)—известный писатель и публицист, редактор „Московских Ведомостей“ и основатель и издатель журнала „Русский Вестник“ (1856 г.), в котором Тургенев поместил повести: „Накануне“ (1860), „Отцы и дети“ (1862), „Дым“ (1867), „История лейтенанта Ергунова“ (1868) и рассказ „Несчастливая“ (1869). Прекращение сотрудничества Тургенева в „Русском Вестнике“ надобно поставить в связь с его полным расхождением с политической программой Каткова, мало-помалу ставшего во главе крайней консервативной партии, ибо Тургенев всегда находился в рядах партии либеральной, группировавшейся вокруг „Вестника Европы“; в письмах к редактору последнего—М. М. Стасюлевичу—много выпадов Тургенева против Каткова (см. „Стасюлевич и его современники“, т. III).

¹⁾ Повести „Дым“, помещенной в 3-й книжке „Русского Вестника“ за 1867 г.

4.

А. Н. Майкову¹⁾.

[Конецъ декабря 1859—начало января 1860 г. Петербургъ]²⁾.

Любезный Аполлонъ Николаевичъ,

Позвольте, во-первыхъ, пожелать Вамъ счастливый Новый Годъ; а во-вторыхъ—позвольте мнѣ какъ больному человѣку, которому запрещено выѣзжать, и какъ старинному пріятелю, который очень сожалѣть, что давно Васъ не видалъ,—попросить Васъ—не можете ли Вы когда-нибудь на-дняхъ пріѣхать ко мнѣ и прочесть что-нибудь изъ вашихъ произведеній? Это былъ бы для меня настоящей праздникъ. Въ ожиданіи отвѣта остаюся

Душевно преданный Вамъ

Ив. Тургеневъ.

Всей Вашей семьѣ мой искренній поклонъ.

Живу я на углу Малой Морской и Гороховой въ домѣ Гиллермэ (входъ съ Морской). Назначьте мнѣ вечеръ, когда хотите.

¹⁾ Привнесено в дар Пушкинскому Дому О. А. Трескиной.

²⁾ Письмо это не имеет на себе хронологической пометы; мы его датируем „концомъ декабря 1859—началомъ января 1860 года“ потому, что 1) письмо, судя по бумаге и почерку, не могло быть писано ранее середины 1850-х годов, а начало годов 1856—1858 Тургенев проводил не в Петербургѣ, равно как и годы 1861—1863 и 1865—1883; из остающихся годов (1859, 1860 и 1864) в первом (1859) он в начале января был здоров, как и в 1864, конец же 1859 и начало 1860 г. как-разъ былъ боленъ, страдая еще в Спасском и в Москвѣ какою-то серьезною болезнью горла, с которою приехал в Петербург и, по предписанію д-ра Здекауера, должен был „сидеть дома и пить рыбій жир“ (см. „Мои воспоминанія“, А. Фета, ч. I, М. 1890, стр. 312, 313, 315; „Письма И. С. Тургенева к графинѣ Е. Е. Ламберт“, М. 1915, № 26—38; Письмо к М. А. Маркович—„Минувшіе годы“, 1908 г., № 8, стр. 80—81 и др.). Впрочем, и Фету, и Маркович он в январѣ 1860 г. указывал другой адрес, чем Майкову: на Большой Конюшенной, в домѣ Вебера; сюда, конечно, он мог переѣхать от Гиллермэ или обратно. „В первомъ собраніи писемъ Тургенева“ это письмо (№ 88) датировано не верно.

